

Д. ЛОКВУД

Я - АБОРИГЕН



ПУТЕШЕСТВИЕ
ВНИ
ПО
СТРАНАМ
ВОСТОКА



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»





Д. ЛОКВУД

Я - АБОРИГЕН



ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА · 1971

**DOUGLAS LOCKWOOD
I, THE ABORIGINAL
LONDON, 1963**

Перевод с английского Р. М. Слодовник

Ответственный редактор В. Р. Кабо

Локвуд Д.

**Л73 Я — абориген. Пер. с англ., М., Главная редакция
восточной литературы изд-ва «Наука», 1971.
223 с.**

Книга представляет собой запись рассказов австралийского аборигена Вайпулданьи. Мы узнаем о судьбе народа Австралии, сохранившего до наших дней уклад каменного века. Реалистическое описание повседневной жизни аборигенов знакомит нас с людьми, вызывающими нашу симпатию и сочувствие.

Меня зовут Вайпулданья или Ваджири-Ваджири (ну а если вам не жалко ломать свой язык, можете называть меня Филиппом Робертсом. Это имя дали мне белые).

Я чистокровный абориген из племени алава, которое живет на Северной территории у реки Ропер.

Я прошел все испытания племенной инициации и беспрекословно соблюдал многочисленные табу. Ребенком меня «отпел» злой колдун, который хотел меня погубить, чтобы наказать мой род. Другой спас меня.

Во время наших языческих церемоний я поклонялся Кунашши — Матери-земле. Я верю в Змею-радугу, но верю также в нашего господа бога, хотя противоречие между этими религиями приводит меня в замешательство.

В юности меня учили выслеживать диких животных и охотиться на них, жить только тем, что дает земля, кормить свою семью с помощью копий и вумеры¹.

Я женился на женщине, которую выбрал мой дядя, ибо он меня воспитал. Так велит закон. У нас шесть дочерей.

Жизнь моя резко изменилась в 1953 году, когда я стал шофером и санитаром у белого врача. С тех пор я научился лечить белых и черных лекарствами, которые, как и наши примитивные снадобья, готовятся из трав.

Но, несмотря на все мои познания и недавно полученное право гражданства, несмотря на то что я стал цивилизованным человеком, я остался и навсегда останусь аборигеном. У меня есть обязанности перед племенем.

Дуглас Локвуд, мой соотечественник, написал книгу о моей жизни.

Прочтите ее и постарайтесь лучше понять мой народ.

¹ В у м е р а — орудие, с помощью которого аборигены метают копьё. Копьёметалка, как бы удлиняя руку и увеличивая силу толчка, позволяет метнуть копьё на далекое расстояние. (Здесь и далее примечания редактора.)

*Вайпулданья из австралийского племени
алава с любовью и благодарностью посвя-
щает эту книгу, рассказывающую исто-
рию его жизни*

Более ста часов провел он со мной, излагая все пережитое своей жизни и терпеливо разъясняя обычаи и ритуалы своего народа.

А потом мы подолгу сидели вместе над рукописью и дорабатывали ее.

Надеюсь, что труд Вайпулданьи не пропал даром и я справился со своей темой.

Вайпулданья вырос на реке Ропер в юго-восточной части Арнемленда.

Он родился в лесу, на ложе из чайного дерева.

Он сам пробил себе дорогу. Сейчас это образованный человек, приобщившийся к цивилизации. Но Вайпулданья остался верен обычаям своих первобытных предков.

Недавно правительство Австралии наградило его. Мы дали ему «медаль свободы» — право гражданства.

Вся Северная территория знает его под именем Филиппа Робертса.

Как бы его ни называли — Вайпулданья, Ваджири-Ваджири (другое его племенное имя) или Филипп Робертс, я всегда буду помнить этого замечательного человека, увлекательного рассказчика, а главное, гордого аборигена.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Однажды колдун едва не убил меня. Было это в районе фермы Невер-Невер, около горы Сент-Виджеон, к югу от реки Ропер, на расстоянии одного перехода от нашего дома.

Но я остался жив, чтобы рассказать, как это случилось. Слушайте же внимательно.

Отец мой, Барнабас Габарла, принадлежащий к тотему нестрошей ящерицы племени алава, ушел из дому, чтобы помочь белому человеку перегнать стада. Так он погами — единственно доступным ему способом — зарабатывал хлеб для семьи, хотя в те дни мы чаще всего питались диким ямсом, корнями лилий, гуанами, змеями и мясом кенгуру.

Я жил с матерью в миссии на берегу реки Ропер у залива Карпентария, в четырехстах милях к юго-востоку от Дарвина и в пятидесяти к западу от залива Порт-Ропер, в дельте реки Ропер, где кроме нашего племени обитали еще акулы, крокодилы, гигантские рыбы-пилы, шипохвостые скаты, морские орлы, каменные рыбы, гигантские групперы и осьминоги.

Вода кишела этими чудовищными убийцами, только того и ждавшими, чтобы юный абориген, забыв про осторожность, окунулся рядом или проплыл здесь на лодке.

Земля была не так опасна: по-соседству с безвредными кенгуру, мясо которых годилось в пищу, ползали гуаны, ядовитые змеи, шипохвосты и множество питонов, которыми мы также не брезговали.

Купаясь в реке, мы вынуждены были остерегаться, как бы не угодить в пасть к своим врагам, а на суше сами нагоняли страх на живых существ, уничтожая всех, попадавших нам на глаза.

Страна, не имевшая, казалось, ни конца ни края, помогла нам, людям каменного века, а мы-то уж умели пользоваться ее щедростью. Вечно голодные, вечно рыщущие в поисках пищи, мы немедленно уничтожали свою добы-

чу, ничего не оставляя на завтра и несколько не заботясь о будущем.

В семь лет моим любимым развлечением было ходить с отцом на воскресную прогулку, неслышно подкрадываться к добыче и разить ее игрушечным копьем, которое сделал мой отец. Жестокый, как все мальчики этого возраста, и черные и белые, я с удовольствием убивал, и не было для меня большей радости, чем прикончить с разрешения взрослых небольшое пресмыкающееся или животное, бывшее в силках.

Однажды в холодное время года моя мать как-то утром сказала, что мы отправимся к горе Сент-Виджеон, за двадцать пять миль от нас, чтобы узнать, когда мой отец возвратится из путешествия к краю Земли и даже дальше — в Квинсленд.

Мной сразу же овладело нетерпение. Мать еще не успела закрыть рот, как я уже был готов отправиться в путь. С момента появления на свет у меня не было никакой одежды — не только воскресного или выходного платья, а вообще никакой. Я взял свои копья — вот и все мои сборы в дорогу — и уже ждал старших.

К счастью, и они собрались почти так же быстро. Нора, моя мать, носила простой лал-лап². Грудь ее, тяжелая от приливавшего молока — она собиралась родить мне братишку, — была обнажена. Длинные пряди нечесаных черных волос развевались по ветру.

Как и все мы, она ходила босиком по камням, галькам, колючкам, твердой красно-черной земле. Подошвы ее распухших ног покрылись мозолями и затвердели.

У нее никогда не было платья, ботинок, чулок, даже простого гребня; она не знала, что такое бусы или какие-либо другие украшения, пудра, помада... Это была женщина, лишенная женственности, ничем не приукрашенная, возможно непривлекательная, но только такая женщина могла разделить жизнь кочевника.

Ей не нужны были безделушки, какие, я видел, носят сейчас женщины ее племени. Она слепо подчинялась мужу, моему отцу Барнабасу, была его движимой собственностью, инкубатором его сыновей и послушно выполняла роль, отведенную ей племенем по раз навсегда заведенному порядку.

² Л а л - л а п — женская набедренная повязка.

Достигнув зрелости, она ушла к мужчине, который по-манил ее к своему костру. По законам племени эта женщина целиком и полностью принадлежала ему, и он знал, что может ее прогнать, ругать и наказывать, может таинственным образом оплодотворить своим семенем, из которого вырастут дети, когда Змея-радуга, дарительница жизни, проложит свой путь по небу.

С нами шел Нэд Веари-Вайингга, мой дед, угловатый тонций старик с копной седых волос на голове; его наготу прикрывала только короткая нарга³. Он жил на реке Ронер, когда туда впервые пришел белый человек и провел телеграф; он был здесь, когда вместе с миссионерами появился Христос; он был еще раньше, когда эта страна не знала других людей, кроме алава, анула, нгулклун, нунгубуйю, мара, рембаррига и племен, живших далеко на реке Каледон, на острове Грут-Айленд, в Арнемленде.

Силас Нгулати, мой младший брат из секции⁴ Бунгади, тоже шел с нами.

Мы шли, шли, шли и остановились только в полдень.

Отдохнули и пошли снова... По дороге охотились, смеялись и играли, радуясь тому, что мы одни на земле нашего племени, которую нам дали тотемы и которая всегда будет принадлежать алава, даже когда белый человек заберет ее для себя и для своего скота.

³ Н а р г а — мужская набедренная повязка.

⁴ Многие племена австралийских аборигенов делятся на две половины (фратрии), а также на четыре или восемь общественных групп с присущими им правилами заключения браков и счета происхождения. В трудах по этнографии такие общественные группы нередко называют брачными классами, однако удачнее термины «секция» и «субсекция»; первый из них и принят нами в переводе книги Д. Локвуда. Сам Ф. Робертс употребляет вместо слов «класс» или «секция» слово «кожа», распространенное среди аборигенов Северной и Северо-Западной Австралии для обозначения этих общественных групп. Каждая секция имеет свое наименование (в настоящем случае — Бунгади). Деление племени на фратрии, секции и субсекции предотвращает браки между родными братьями и сестрами, родителями и детьми. Не только мужья и жены, но и родители и их дети, а также перекрестно-двоюродные братья и сестры принадлежат к разным секциям. В то же время, как убедится читатель далее, принадлежность к той или иной фратрии и секции позволяет аборигену, посещая другие племена, приобрести там номинальных «родственников» и потенциальных жен, иными словами — включиться в систему родственных — и, шире, социальных — взаимоотношений.

А вечером, когда солнце, скрываясь в своем ночном лагере за краем Земли, послало на дымчатое небо пурпурные лучи света, мы пришли к Сент-Виджеон.

Остановились на ночлег. И тут — уж не знаю, сколько времени прошло, — мне стало плохо. Преследуя какое-то животное, мать нашла на дереве дикий мед, и я вволю им полакомился. Это и раньше случалось, но никогда не мешало мне ужинать с аппетитом. Сейчас мой желудок возмутился от одного запаха поджаривающегося мяса гуаны, которую мать держала над костром.

Жир капал с тела крупного пресмыкающегося — одного его хвост имел больше ядра в длину. Дорого же оно заплатило за свою ошибку!

Днем, когда мы охотились на кенгуру, гуана заметила крадущегося через кусты Силаса и, повинувшись инстинкту, кинулась к ближайшему дереву, быстро вскарабкалась на самую верхнюю ветку, благо до нее было не более семи футов. Только тут она обнаружила, что дерево — живое человеческое существо.

Это был мой дед. Ничем не выдавая своего присутствия, он застыл с вытянутой рукой и, как только увидел гуану, сделал рывок, слишком, пожалуй, резкий для такого старого человека, схватил гуану за хвост и изо всех сил ударил головой о землю, так что у нее переломился шейный позвонок. Теперь будет что на ужин.

— Меня тошнит, — сказал я.

Мать предупреждала, что я буду наказан за жадность, и уже готова была произнести: «Я же тебе говорила!» — но я, хоть и был еще совсем ребенком, понимал, что недомогание мое не совсем обычное и, как мог, постарался рассказать, что со мной происходит.

Кожа моя горела. В желудке творилось такое, что, казалось, там вот-вот все закипит. Руки и ноги сводило от озноба, как это бывает при малярии. Сердце билось учащенно, голова болела, я обливался потом. Но все это было ничто по сравнению с ужасом, который охватил меня, когда дедушка, взглянув в мою сторону, прошептал одноединственное слово:

— Мараворина!

Я был совсем мальчонкой, но успел уже послушаться на реке Ропер рассказов у костра и сразу понял, что, по мнению дедушки, меня умышленно отравили.

Кто мог отравить семилетнего мальчика? Зачем? Какое

ало, кроме обычного озорства, мог совершить такой ма-
ленький абориген, чтобы вызвать у кого-либо желание от-
равить его? На эти вопросы мог ответить тогда любой из
нас. Даже в 1962 году племена аборигенов, населяющие
восточную часть Северной территории, по некоторым при-
чинам боялись племен, живущих на западе. Примерно
такое же недоверие большинство белых людей из так на-
зываемого свободного мира испытывает зачастую к своим
соплеменникам.

Мы боимся малак-малак, бриккен, нангомери, муринба-
да, потому что на протяжении веков, начиная с глубокой
древности — мистического периода, называемого у нас Вре-
менем сновидений⁵, — о них идет молва как об очень хит-
рых и изобретательных отравителях, владеющих древним
искусством срезать сало с почки человека, пока он нахо-
дится в беспамятстве.

Мы и сейчас, укладываясь спать, принимаем все меры
предосторожности, если знаем, что поблизости есть чело-
век из племени малак-малак или бриккен. Он ведь может
применить свое страшное искусство колдовства! Слишком
часто доводилось нам видеть их ночью с куском человечь-
его сала или бедренной костью покойника в руках. Краду-
чись и петляя, они воровски подбирались к наветренной
стенке хижины своей жертвы, поджигали около нее сало
или кость и выжидали, пока человек, находившийся внут-
ри, не почувствует запаха дыма.

Это простое анестезирующее средство легким облачком
вмиг обволакивает жертву и заставляет ее погрузиться в
глубокий сон. И тогда хирурги, явившиеся за почечным
салом, и отравители могут без помех приниматься за свое
черное дело.

Мараворина?

Это означало, что, пока я спал, отравители посетили
наш дом и ввели мне смертельную дозу смеси красной
охры, белой глины и экскрементов собаки, может быть,
с добавлением небольшого количества толченого стекла.

Мог ли я остаться жив, получив такое страшное снадо-
бие! Его не раз пробовали на собаках динго, и они неиз-

⁵ Временем сновидений (на языке центральноавстра-
лийского племени аранда-алчера или алчеринга) аборигены Ав-
стралии называют мифическую эпоху, когда создавались земли и
воды, люди и животные, солнце, луна и звезды, — короче, весь ви-
димый мир.

менно подыхали. Где уж тут выжить мальчугану, тем более что ужас, который он испытывал, действовал не менее смертоносно, чем сам яд!

Я рассказываю не сказку и не легенду, передаваемую аборигенами из уст в уста. Это случилось со мной, и я хорошо все помню.

Итак, были, конечно, приняты все меры, которые рекомендовал при мараборине знахарь из нашего племени. Возражать было бесполезно, я это знал и молчал, да у меня и не было сил протестовать.

Маленькие мальчики становятся молодыми мужчинами, от которых зависит продолжение рода. Без них древо жизни зачахнет. Потерять даже одного из них, по мнению моего деда, было равносильно тому, что срубить с дерева здоровую ветку. Он делал все, что мог, лишь бы я остался жив, а мать и Силас ему помогали.

Не в состоянии оторвать от них глаз, я со страхом смотрел, как они быстро выкопали в песке глубокую яму, наполнили ее сухим хворостом и листьями и поднесли к ним тлеющую головешку. Когда яростное пламя угомонилось, золу и угли разгребли и обнажили горячий песок, до которого нельзя было дотронуться. На него вылили несколько куламонов⁶ воды. С шипением повалил пар. Но вот дед решил, что теперь песок достаточно остыл. Поверх растелили одеяло, а на него положили меня, чтобы я парился, варился, тушился, а яды, которые бродили во мне, по каплям выходили наружу.

Я покрылся обильной испариной, лишаясь последних соков, которые еще оставались в моем теле. Жара становилась невыносимой. Мне хотелось закричать, вскочить, убежать прочь, но деду и брату не пришлось меня удерживать: объятый страхом, подавленный, я прижимался к моему огненному ложу, чтобы пройти очищение, закалиться подобно стали в открытом горне, пока из меня выжигается шлак. Это было не единственное мучительное испытание, которое выпало в детстве на мою долю, но, пожалуй, самое тяжелое.

Мать, дед и Силас внимательно следили за тем, как из меня вместе с потом выделяется яд. Мое черное тело они покрыли тонким слоем светлой охры, чтобы капли влаги

⁶ Куламон — сосуд в виде корытца из дерева или древесной коры.

лучше были видны на нем. Мать очищенной от мяса лопаткой кенгуру, а дед плоской деревяшкой соскребали с меня размякшую кожу, якобы удаляя вместе с ней выделения яда.

Вскоре, однако, я узнал, что это был всего лишь клинический анализ, проводимый доморощенным патологом. Он показал, что я вовсе не отравлен.

О нет, это было ничуть не лучше! Это было несравненно хуже!

Состояние мое не улучшалось, и дед в конце концов решил, что поставил неправильный диагноз. Он снова взвесил все симптомы и глубокомысленно изрек:

— Вайпулданья отпет!

И я так был напуган тем, что могу умереть от марава-риши, теперь же совсем обезумел от страха.

Все аборигены, даже те, кто покинул родное племя, верят в колдовство.

Я уже десять лет живу среди белых людей, как белый, но до сих пор не победил в себе врожденного страха и инстинктивного с молоком матери убеждения, что некоторые старые аборигены наделены сверхъестественной силой.

Я видел, как у моих сородичей, объятых ужасом, закатывались глаза и на губах выступала пена. Я видел, как они бежали в неистовстве, теряя дар речи. И все лишь потому, что каждое непонятное им явление они немедленно объясняли колдовством. Только зная это, можно понять поведение аборигена, который подозревает, что он «отпет» на смерть своим сородичем-колдуном.

В некоторых племенах говорят не «отпет», а «произнесен костью»⁷. Я был свидетелем того, как здоровые мужчины за несколько дней теряли силы и рассудок и уми-

⁷ Нацеливание костью — один из приемов вредоносной магии, распространенный в разных частях Австралии. Целясь в своего врага особой костью и произнося при этом соответствующее заклинание, человек верит, что кость входит в тело жертвы. А «произнесенный костью», узнав или догадавшись об этом и не сомневаясь в силе колдовства, считая себя обреченным, впадает в угнетенное состояние, перестает есть и пить и действительно заболевает и даже умирает. Большую роль здесь играет, как видим, самовнушение. Спасти человека от последствий черной магии может только другой колдун или знахарь, как это и случилось с героем нашей книги.

рали от потрясения, которое представляет собой не что иное, как серьезное психическое заболевание.

И вот это несчастье постигло меня в семилетнем возрасте.

Почему?

Человеку со стороны трудно понять образ мышления аборигена. Пытаясь проанализировать действия австралийца, белый в конце концов неизменно наталкивается на высокую стену предрассудков, перед которыми бессильна логика. Примирить ее с ними невозможно.

Но для аборигена не существует неразрешимых проблем. Если он не в силах объяснить то или иное событие, особенно из ряда вон выходящее, то ему на помощь приходит вера в сверхъестественное: «Здесь что-то есть!».

Как часто я слышал эти слова! Они выражают страх и веру в черную магию. Должен признаться, что даже полученное мной не так давно образование не поколебало моей уверенности в ее существовании.

Но за что, за что я мог быть так наказан? Ведь я не сделал ничего плохого. У меня не было дурного глаза. Я не был идиотом, которого следовало убить, чтобы он не производил на свет себе подобных.

До сих пор я по сути дела не знаю, в чем провинился, хотя на этот счет существует несколько предположений. В нашей семье считают, что я был «отпет» по ошибке при торжественной разрисовке тела перед ритуальным корробори — ябудурава. Это серьезный проступок.

Ябудураву танцуют кенгуру, гуана, дикая слива, дикий апельсин, змея и другие тотемы племен с реки Ропер⁸. Этот ритуал распространен к востоку от залива Карпен-

⁸ Тотемизм — одна из форм первобытной религии, вера в сверхъестественную связь или родство между группами людей и определенными видами материальных предметов, чаще всего животными и растениями. Такие животные, растения и другие явления материального мира, с которыми люди обычно считают себя связанными узами кровного родства и происхождения, называются тотемами, а группы людей, объединенные верой в общее происхождение или связь с определенным тотемом, — тотемическими группами или тотемическими родами. В Австралии такие группы, или роды, имеют и свои особые тотемические церемонии, обряды, во время которых посвященные в ритуальном танце (корробори) изображают действия своих тотемических предков в мифические «Времена сновидений» или же стремятся умножить количество тотемических животных и растений посредством магического воздействия на них (обряды плодородия).

тарии; к западу от Элси, фермы Невер-Невер; к северу от Майнору, где проходит граница Арнемленда; к югу от истоков реки Ходжсон.

В племени алава ябудурава не сопровождается песнями или игрой на диджериду⁹ — единственным аккомпанементом служат удары палок. Исполняется ябудурава периодически с января по июнь, причем в отличие от других церемоний, происходящих ночью, ябудураву танцуют при свете солнца, заканчивают не позднее четырех часов пополудни, и только в заключительный день это корробори продолжается до зари. Таков закон.

Женщины на корробори не допускаются. Они должны находиться на расстоянии не менее полумили от него. Если в те годы, когда был молод мой дед, женщина приближалась к месту ябудуравы, ей немедленно отрубали голову, да и сейчас она скорее всего поплатилась бы за дерзость жизнью.

В последнюю ночь женщины могут подойти к корробори на пятьдесят ярдов, но головы их должны быть покрыты одеялами, чтобы они не видели, как сто или более мужчин с разрисованными телами исполняют последние тайные ритуалы.

Мои двоюродные братья покрывали мое тело узорами, точно следуя указаниям старших. Они должны были до мельчайших подробностей соблюсти сложный рисунок. Если они допускали ошибку, корробори не начиналось. Распорядитель церемонии не давал разрешения, участники усаживались и ждали, пока рисунок на моем теле будет исправлен. Но абориген, затаивший злобу против сородича, мог умышленно ошибиться, совсем немного, чуть-чуть, так что это выявлялось лишь после начала церемонии, когда остановиться уже было нельзя. Так приходила беда.

В семилетнем возрасте я, конечно, еще не участвовал в ябудураве. Как же могло случиться, что меня «отпели» за неточный узор на моем теле?

⁹ Д и д ж е р и д у — деревянная труба, один из очень немногих музыкальных инструментов коренных австралийцев. Распространена на севере Австралии. Другой, более распространенный музыкальный инструмент — особые деревянные палки (иногда их заменяют бумерангами). Удары палок и гудение диджериду сопровождают песни и танцы аборигенов.

Задолго до прихода Христа к аборигенам мы уже подчинялись многим законам, которые нам потом дала Библия. Один из них — заповедь Моисея о том, что вина отцов падет на детей и на детей детей до третьего и четвертого рода.

Этот древний обычай распространен среди большинства австралийских племен. Часто за грехи старого человека убивают мальчика. Таким образом кара становится более ощутимой. Непосредственный виновник проступка мог перешагнуть возраст, когда он в состоянии зачать детей, а перед мальчиком впереди вся жизнь. Смерть ребенка убивает его потенциальных потомков до третьего и четвертого рода и даже дальше, особенно в таком обществе, как наше, где на века установлено, кто на ком может жениться.

Итак, мне было предназначено умереть от самовнушения.

До болезни я был счастлив, беззаботен и здоров, как и любой австралийский мальчик. О насилии, сглазе или смерти я и подумать не мог. Но тут за несколько минут у меня подскочила температура, а желудок вновь взбунтовался.

Вы можете спросить, как объяснить самовнушением заболевание, симптомы которого я не знал, пока не ощутил их на себе. Могу только ответить, что так было со мной, да и со многими другими. Я верю, что «отпетый» инстинктивно догадывается об этом, и его организм начинает реагировать задолго до того, как человек это осознает.

Но вот я поднял голову и увидел, что мой дед Веари-Вайингга мрачно смотрит на меня. Если не произойдет чуда, его слова станут равносильны смертному приговору.

— Вайпулданья отпет, — повторил дед.

Мать жалобно застонала и начала бить сильно себя в грудь.

Я знал, что, если умру, она изрешет себе голову камнями, чтобы по ее лицу катились ручейки кровавых слез. Так у алава с глубокой древности оплакивают покойников.

На мне тяготело проклятие, незаметно разрушавшее мой разум и тело.

Я стану отказываться от воды и пищи.

Я буду испражняться под себя.

Я буду стонать и биться в судорогах.

Пройдет день, неделя, может быть, две, и передо мной предстанет отвратительное видение. Я закричу от ужаса, не зная, что выгляжу ничуть не лучше, и умру самой странной смертью.

Снасти меня, сняв тяготевшее надо мной проклятие, мог только другой колдун, более сильный, чем тот, кто наслал на меня порчу. Может быть, для этого он нарисовал мое изображение на камедном дереве и танцевал вокруг него, а затем бросил на дерево свое проклятие, и оно вошло в меня.

— Гуджива! — вскричала моя мать. — Гуджива!

Гуджива был наш знахарь, друг семьи.

Скорей веди его сюда! — приказал дед Силасу. — Беси изо всех сил на ферму Сент-Виджеон. Найди Гудживу! Найди! Найди! И бегом сюда! Скажи ему, что Вайнузданья проклят и умрет, если он не явится немедленно.

Силас, такой же голыш, как и я, бросился выполнять приказание старика. Стремглав кинулся он через лес к ферме, находившейся в пяти милях от нашего лагеря. Сколько он отсутствовал — я не знаю. Тело мое функционировало помимо воли. Я лежал в своей собственной кризе и ждал, того не сознавая, медленно приближавшейся смерти, кары, непосланной врагами моих соплеменников на меня, чтобы таким образом наказать их посылнее.

Гуджива пришел. Я этого не помню и не помню ничего из того, что было потом, до самого моего выздоровления. Но мне все рассказал дед.

Гуджива приготовил смесь из дикого меда, которым я объелся, коры длиннолистной акации, ямса и впихнул мне в рот. Желудок мой противился, но Гуджива стоял на своем, пока не убедился, что я проглотил немного.

Тогда он принялся танцевать, ударяя по земле ветками зеленых кустов, выкрикивая проклятия по адресу врагов, желавших моей гибели, воспевая меня, моих предков, стараясь умилоствовать тотемы обещаниями щедрых даров, призывая бедствия на головы колдунов, которые привели меня на джарри — дорогу от жизни к смерти.

В одной руке Гуджива держал кусок древесной коры, свернутый в виде куламона. Другую руку колдун поло-

жил мне на сердце, а губами принялся сосать мою руку около плеча. Щеки его раздулись, и через минуту он выплюнул в куламон кровь. Затем он снова пососал... пососал и выплюнул... и так до тех пор, пока куламон не наполнился до краев.

Глаза мои снова начали видеть. Судороги прекратились. Я перестал стонать и кричать, а когда Гуджива потер ветками мою грудь, последний раз выплюнул кровь и вынул изо рта красную раковину в форме звезды, я окончательно пришел в сознание.

Тут же мой рассудок освободился от давившей на него тяжести. Тело расслабилось. Тошнота прошла. Я опять обрел способность связно разговаривать.

Через неделю я совсем очистился от скверны и выздоровел.

С тех пор прошло много лет, и все это время мне удавалось ускользнуть от пагубного внимания других колдунов. Я даже смог добиться их доверия и использовать его для того, чтобы помочь белым врачам бороться с заболеваниями и недугами, которые мой народ получил от европейцев.

Один раз — я расскажу об этом случае позднее — я с помощью научной медицины даже вылечил колдуна, его жену и сына. Вот это была победа!

Меня часто спрашивают, откуда у Гудживы взялась кровь, которую он выплевывал в куламон, когда моя жизнь висела на волоске.

Циники утверждают, что он по дороге убил кенгуру и, когда пришел ко мне, уже держал кровь во рту.

Я думаю, что это не так. Прежде всего, предпринимая все свои действия, Гуджива непрерывно пел, широко раскрывая рот, и в нем не было ни малейших признаков крови. Кроме того, высасывая мою руку, Гуджива сплевывал кровь не один раз.

Став цивилизованным человеком, я понял, что далеко не все, во что я раньше верил, возможно. Я прошел медицинское обучение и знаю основы анатомии. Я понимаю, что нельзя выжать кровь из камня. И все же я знаю, что Гуджива высосал ее через мою кожу. Этим он убедил меня в том, что освобождает мое тело от дурной крови.

Меня «отпел», обрешши на смерть, примитивный колдун. Другой, не менее примитивный, спас меня.

Как он это сделал, я не знаю. Возможно, это был трюк, но в таком случае очень хитроумный. А впрочем, зачем ему было прибегать к обману? Разве Гуджива не мог сотворить чудо? В конце концов создал же бог женщину на ребра мужчины, а Христос исцелял прокаженных, возвращал слепым зрение, делал калек здоровыми, сотворил хлеб и рыбу, чтобы накормить толпу людей, и вознесся на небо.

У нас есть свои волшебники. Так почему бы им тоже не творить чудеса?

Чтобы стать колдуном, надо пройти испытания, у разных племен разные. У аборигенов с реки Ропер претендент чаще всего должен провести ночь на кладбище. Здесь он в основном черпает свою силу, хотя это не избавляет его от других испытаний.

Войдя в большой мир белых, я узнал, что европейцы ничуть не меньше, чем аборигены, боятся провести ночь на кладбище. Они, как и мы, боятся духов, только называют их привидениями.

Несколько лет назад в миссию на острове Батерст к больному срочно вызвали Летающего Доктора¹⁰. Чтобы он мог сесть, людям из племени тиви велели выложить сигнальную дорожку из банок. Когда миссионер хотел поджечь пропитанный керосином песок в банках, он увидел, что они расставлены слишком близко одна от другой и доходят лишь до середины посадочной площадки, а ее дальний край, где, собственно, самолет должен был приземлиться, погружен во мрак. Миссионеру так и не удалось уговорить аборигенов и пришлось самому носить банки. А все дело было в том, что у указателя, отмечавшего половину площадки, начиналось кладбище!

Что же удивительного, если того, кто проведет ночь в таком месте, считают человеком необыкновенным: он ведь не только преодолел свой страх, но и победил злых духов. Значит, он не может ошибиться. Мы верим, что он наделен сверхъестественной силой. Такой человек заслуживает уважения, и, уж конечно, никак не следует навлекать на себя его гнев. Даже в наш век ускоренно-

¹⁰ Летающий Доктор — так аборигены называют врачей, которые прилетают к ним на самолетах. Медицинское обслуживание населения отдаленных районов с помощью авиации в настоящее время широко распространилось в Австралии.

го распада племен мы все время получаем доказательства того, что колдуны по-прежнему пользуются огромным влиянием.

Поблизости от Теннантс-Крика скончалась австралийка по имени Майзиэ Намбиджимба. Полиция и дипломированные белые врачи осмотрели ее тело, но никаких явных причин смерти не обнаружили. Произвели вскрытие. Когда следователь заинтересовался результатом, доктор Берил Рич сообщила, что, к ее великому удивлению, вскрытие также ничего не показало.

Старейшины племени могли бы объяснить ей, в чем дело. Смерть Майзиэ — еще одно доказательство того, что аборигены ничего не забывают. Все преступления должны быть отмщены в соответствии с системой: «Я тебе, ты мне». Господь бог думал так же, когда сказал Моисею: «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб».

История Майзиэ началась в очень жаркий день, когда ее муж Снови Джамбаджимба взял на охоту двух мальчиков из селения Варабри. По дороге на ферму Сингтон мальчики погибли от жажды, и в их смерти молва обвинила Снови, который остался жив.

Я хорошо представляю себе, как злобно шептались между собой старики селения. Вокруг Снови и Майзиэ разгорелась настоящая война нервов, и, напуганные насмерть, они в конце концов не выдержали и бежали.

Но это не спасло Майзиэ. Несколько дней спустя она умерла, хотя никаких симптомов заболевания у нее не было. Только около рта выступила пена. Врачи так ничего и не поняли.

А вот ее мужу Снови Джамбаджимбе все было ясно.

— Она умерла, когда дух камня взял ее сердце, — сказал он.

Дух камня? Да, да. Один из способов умерщвления, применяемых колдуном, заключается в том, что он посылает своей жертве горсть магических камней.

«Отшестый» человек обязательно умирает. Спасти его может только отмена приговора или вмешательство другого «доктора», как это было со мной. В последние годы несколько человек избежали смерти благодаря тому, что были изолированы от племени.

Самый известный случай такого рода произошел с молодым аборигеном из племени гоманд. Лиа Вулуму был «отпет» в миссии Йиркала, в северо-восточной части Арнемленда.

Тогда Вулуму пожаловалась колдуну, что зять не даст ей проходу. У Вулуму пропали вумера и копье, и он только несколько дней спустя нашел их в полом бревне для исполнения церемоний, а свою пулла-пулла¹¹ — на вершине высокого дерева. Это означало, как понимали все люди племени, что он «отпет» и должен умереть.

Через несколько часов Вулуму потерял сознание. Самолет Летящего Доктора доставил его в Дарвин — и весьма своевременно, надо сказать: Вулуму перестал дышать, ему пришлось немедленно подключить искусственные легкие. Как только аппарат убрали, сердце Вулуму прекратило биться.

Я хорошо знаю этот случай, так как был в то время санитаром в дарвинской больнице и работал у доктора Джима Гартона Рейманта, который применил к Вулуму медицину белых в сочетании со странными трюками собственного изобретения.

Как бы то ни было, ему, очевидно, удалось убедить Вулуму в своем могуществе, так как абориген постепенно освободился от дурмана, парализовавшего его волю. Он выздоровел и вернулся в родные края.

Меня часто спрашивают, не поколебала ли медицинская подготовка (я и сейчас работаю в больнице фельдшером) мою веру в то, что колдун властен над жизнью и смертью.

Я могу только ответить, что в цивилизованных больницах не раз наблюдал случаи чудесного исцеления мужчин и женщин, которые были на волосок от смерти.

Меня всегда поражало искусство хирургов: они вскрывают брюшину, удаляют жизненно важный — так мне по крайней мере кажется — орган или часть его и снова зашивают рану, а несколько дней спустя пациент встает на ноги.

Я видел ампутацию, видел, как составляли сломанные конечности, как кровь из бутылки вводили умирающему человеку — и он оставался жив. Более того, я знаю,

¹¹ Пулла-пулла — деревянная палица, боевое и охотничье оружие.

что одному ребенку полностью заменили всю кровь, так как у его родителей были несовместимые группы крови.

Все это произвело на меня очень сильное впечатление. Я верю в великое искусство белых хирургов.

Так почему же я не должен верить в злокозненные способности колдунов и знахарей?

Я собственными глазами видел убедительные примеры их могущества.

Я помню, какие муки сам перенес.

Я знаю, чему учат традиции моего племени.

Я в замешательстве, но продолжаю верить в силу колдунов.

Если хотите, считайте, что я всего лишь суеверный абориген.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С чайного дерева, возвышавшегося над лагерем алава, донесся торжественный крик совы мук-мук. Мой отец Барнабас Габарла, спавший среди своих собак, беспокойно заворочался.

Первые проблески юного дня окрасили небо на востоке. Разгоравшийся свет заставил померкнуть блестящие в чистом воздухе большой скотный двор пояса Ориона и пещеру сновидений на Млечном пути.

Пестрошея ящерица, словно она искала смерти, высунулась из-за кустика травы и с любопытством поглядела на пробуждающихся аборигенов. Мой отец был ей не опасен — она представляла его тотем¹², — а пока другие охотники вооружались бумерангами и копьями, успела спрятаться на отдаленном дереве.

Отец сел и похлопал себя по затекшей правой руке, чуть пониже плеча.

— У меня родился сын, — объявил он торжественно.

В это время моя мать узнала тайну родовых мук на розовом песке около крика¹³. Место женщины, сразу ста-

¹² Члены тотемической группы обычно не убивают и не употребляют в пищу (полностью или частично) животное, которое является их тотемом.

¹³ Крики (creeks) — так в Австралии называют реки, русла которых остаются сухими значительную часть года. Лишь в период ливневых дождей их русла наполняются водой.

да тоньше и испытала огромное облегчение. Много часов подряд она металась и стонала на потомственном ложе племени из листьев и коры чайного дерева. Еще сутки она пролежит здесь, и за ней будут небрежно ухаживать равнодушные повивальные бабки, которые больше думают о том, какие подарки им преподнесут по традиции, чем о своих обязанностях.

Был период засухи. Красная пыль, медленно кружась, опускалась на воду, которую повивальные бабки принесли из билабонга¹¹. Песок скрипел на зубах, но моя мать все же напилась, с гордостью глядя, как орущего младенца протерли холодной золой, ласково шлепнули и запернули в примитивное покрывало из коры чайного дерева.

Много месяцев прошло с той ночи, когда она лежала на бедрах моего отца, нежно лаская его, молча повиновшись всем его желаниям. Так ее научили женщины, когда она достигла зрелости.

Дорога была проложена.

На следующий день она пошла купаться в заводь, и там Змея-радуга, дарительница жизни, вдохнула душу в заропенное в нее семя мужчины, чтобы оно наливалось жизнью, а когда сердце младенца начнет биться и придет молоко, вышло наружу.

Так, скромно, без колыбели и яслей, появился на свет я, с розовато-коричневой кожей, — потом она потемнела, с парой рук, парой ног, парой глаз, с сердцем, влюбленным в племенную жизнь, от которой я в один прекрасный день отвернусь.

Но пока все в моей жизни подчинялось непростому, но строгому распорядку. Услышав мой крик, мать произнесла:

Ваджири!

И тут же повторила еще раз:

Ваджири!

Так меня и стали звать: Ваджири-Ваджири.

Мужчины, всегда недовольные тем, что делают женщины, окрестили меня именем Вайпулданья.

Все мои родственники уже тогда знали, какая женщина станет моей женой, хотя она еще не родилась. Когда она родится и вырастет, я ее поманю, и она придет, как

¹¹ Б и л а б о н г — у австралийских аборигенов — водоем.

моя мать пришла к моему отцу, ибо будет знать, что это путь свидений. Но все произошло иначе... Жена моя долго не появлялась на свет, мне надоело ждать, я отказался от нее и женился на другой.

Когда я родился, у меня уже была теща.

Думала ли моя мать, отдыхая на жестком ложе от своего вклада в дело продолжения рода, какое будущее ожидает ее сына, чистокровного аборигена, в поселении белых, где распадается племенная жизнь? Беспокоилась ли о том, что мы будем вдыхать опиум цивилизации? Или ее волновала возможность нашей ассимиляции?

Вряд ли. Заботы жены и матери аборигена ограничивали круг ее интересов. Дальше него она не видит.

Я сосал грудь значительно дольше, чем любой белый ребенок. Дети аборигенов, особенно мальчики, избалованны: они сосут грудь сколько им хочется, и не только материнскую. Каждая аборигенка, которая брала меня на руки, считала своим долгом сунуть мне в рот свой набухший сосок, и я с удовольствием долго тянул молоко, может, даже слишком долго. По-настоящему меня лишь в два года отняли от груди. Я был толстым, неуклюжим ребенком, и мне следовало двигаться гораздо больше, чем это разрешали женщины.

Кричать я мог сколько угодно, — никто и не старался меня успокоить. «Раз ему нравится, пусть орет», — говорили женщины.

Первой твердой пищей, которую я помню, были корни лилий — жесткие волокнистые клубни. Женщины собирали их, ныряя в илистых заводях у берегов Ропер.

Хотя я уже миновал грудной возраст, мать кормила меня изо рта в рот, как птица кормит птенцов в гнезде. Это очень распространено среди аборигенов. Таким же образом она учила меня пить. Мне, конечно, еще трудно было управиться с сосудами из коры, которые заменяют нам чашки и стаканы. Вы можете сказать, что это негигиенично... Ну, а как же матери алава высасывают содержимое носов своих простуженных малышей и никого это не удивляет?

Восемь лет, не считая периода, когда меня «отпели», я жил, как все дети, весело играя на берегу реки, плавая в тихих заводях, где не водились крокодилы. С игрушечным копьем в руках шел на «врага», ночевал под открытым небом, прикрываясь от холода и дождя одним только

одиноком, а чтобы не умереть с голоду, ходил с родителями на охоту.

Нам повезло: в реке рядом было сколько угодно рыбы. А вот как жили люди к западу от Алис-Спрингс, в пустыне, где иногда пять лет подряд продолжалась засуха, — этого я никак не мог понять.

У них не было ни реки, ни рыбы, часто им не хватало воды. Но они при этом даже рожали детей.

Всеми незамеченный, миновал мой восьмой день рождения. Но я еще не подозревал, что совсем скоро подвернусь целой серии унижительных испытаний, которые будут означать мое превращение из мальчика в юношу, пройду инициацию перед вступлением в зрелость¹⁵.

Все началось во время сухого сезона, после сбора урожая черепашьих яиц около Порт-Рочер, как раз перед тем как начали жечь траву.

Мне тогда, наверное, было лет девять.

Мой зять, Марди, подкрался сзади, закрыл мне глаза руками и произнес:

Вайнулданья, твое время настало. Отец твой, Барнабас, сказал старейшинам, что его сын готов стать мужчиной.

И думаю, любой девятилетний белый мальчик почувствовал бы себя польщенным, услышав об этом. Иное дело маленький абориген, живущий по законам племени: он знает, что ему придется перенести боль, изоляцию, жестокость, дать обет монашеского самоотречения и долгое время молчать.

Это означало, что мне бритвенным лезвием, без применения анестезирующих или антисептических средств, проведут обрезание, запретят два года разговаривать с определенными родственниками и есть одни виды пищи всю жизнь, а другие периодически, предложат спать вместе с группой женщин-свойственниц, не досаждая им расспросами.

Бедный я, бедный!

Тогда я еще не знал, что теперь обрезание было сравнительно безболезненной и даже гигиенической опера-

¹⁵ Когда у мальчика аборигена наступает период полового созревания, он проходит через серию мучительных испытаний, объединенных общим названием «обряды посвящения» (инициация).

цей по сравнению с тем, как оно производилось до прихода белого человека: среди его даров оказалось острое лезвие бритвы. А вот отцу обрезание делали камнем, деда же оперировал «хирург», действовавший зубами!

Сейчас молодому аборигену, который проходит инициацию, накладывают настоящую повязку. Мне ее заменил кусок влажной глины — маргиры. Глина высыхала на солнце и трескалась, ее приходилось каждый день менять.

Итак, мой зять закрыл мне глаза. Тут же меня окружили старейшины. Они стучали бумерангами и пели церемониальные песни, а мои свойственники тем временем вывели мне маргирой и красной охрой узоры на лбу, щеках и теле, а затем обвили шею и верхнюю часть туловища гирляндами из волос опоссума и перьев.

Это означало, что теперь я вулугурр, то есть мальчик, которому предстоит пройти ритуальное обрезание и стать мужчиной.

Затем меня отвели к свойственницам. Только теперь я точно узнал, какие унижительные испытания мне предстоят.

— Ты будешь спать рядом с одной из них, под ее одеялом, — сказали мне. — Все они — твои покровительницы и будут кормить тебя и выполнять любые твои пожелания. Но тебе запрещено разговаривать с ними!

— Ваджири-Ваджири, хочешь воды? — спрашивали женщины.

Я кивал головой.

— Хочешь есть?

Я утвердительно кивал головой или отворачивался в сторону.

— Хочешь на двор? — они спрашивали даже это.

Я опять отвечал кивком головы.

— Теперь пойдём спать, — говорила свойственница и указывала мне на место рядом с ней под одеялом. Но я не должен был ее касаться. Она, почти не замолкая, разговаривала со своими сестрами; речь часто шла обо мне. Но я не произносил ни звука.

Так повелевал закон племени.

Я получал первые уроки самообладания. Тело мое и разум привыкали к дисциплине. Теперь я всегда смогу держать себя под контролем, если только на свое горе не буду снова «отпет» колдуном.

Как только я перешел к свойственницам, мой отец, мать, братья и все близкие родственники отстранялись от меня, хотя на мне не лежало табу. Это был просто один из способов приучить меня к сдержанности.

Все это, конечно, мне не нравилось. Я ненавижу каждое мгновение своей жизни. Представьте себе переживания девятилетнего белого мальчика, вынужденного спать среди голых женщин. Я стеснялся, потихоньку плакал, но молчал и даже не делая попытки убежать.

Церемония посвящения начиналась танцем женщин-сирен — вунгудува. Свойственницы отвели меня на площадку для корробори, где они целую ночь танцевали, притоптывая ногами, жестикулируя и разыгрывая целые пантомимы.

Ложке для меня устроили около костра — так сказать, в первых креслах партера, откуда я хорошо видел танец женщин, единственный за всю мою жизнь, исполняемый только для меня.

На следующую ночь, когда мужчины танцевали мундину, опять же для меня одного, я уже ничего не видел.

Весь день я оставался со свойственницами, в то время как мужчины маргирой и охрой разрисовывали свои тела замысловатыми узорами. К вечеру женщины подновили мою раскраску и надели мне на голову ленту из белой ткани с одним-единственным пером. За час до захода солнца меня с головой накрыли одеялами.

Так, ничего не видя, лежал я у края площадки и прислушивался. Женщины пропели мужчинам, что я занял положенное мне место.

Громко стучали бумеранги. Дети плакали. Лаяли собаки. Все с нетерпением ждало сигнала от главных действующих лиц корробори, которые у ближайшего крика старательно разглаживали свои всклокоченные волосы и проверяли сложную, стилизованную разрисовку тел.

— Скорей, скорей! — шептал я, обливаясь потом под тяжелыми одеялами.

Наконец бумеранги перестали стучать, пение смолкло. Воцарилась тишина. Я сразу это почувствовал. Даже не видя, я знал, что теперь из пересохшего русла крика, с удовольствием позируя перед собравшимися, вышли ведущие солисты. Они были загримированы под индюков, име, корни лилий, диких слив, кенгуру, змей — словом, под языческие тотемы, которые являются каждому абор-

ригену в свидениях и пользуются, по нашим верованиям, неограниченным влиянием.

Я принадлежу к тотему кенгуру. Поэтому я верю, что кенгуру дал мне язык, ямы, где собирается вода, пищу, холмы и долины и многое другое. Мне запрещено есть определенные части кенгуру, например передние и задние ноги. Абориген, принадлежащий к тотему змеи, вообще не употребляет ее в пищу, ибо все части тела змеи так схожи между собой, что он может допустить ошибку.

Когда разрисованные мужчины появились на виду у всех, кроме меня, певец из хора, образовавшего круг, стал объявлять «страну» каждого. Мы относимся к племени алава и живем около реки Ропер, но у каждого есть свой собственный участок племенной земли, который он называет «моя страна».

Мне принадлежит территория площадью шестьдесят квадратных миль — почти сорок тысяч акров — точно к югу от миссии на реке Ропер. Я называю свою страну Ларбаранджи. Я знаю белого человека, который пасет свой скот на моей земле и воображает, что она принадлежит ему.

Страна моего брата Джекоба Вуйаинджи-Маджиньи находится на берегу реки Ходжсон, на территории скотоводческой фермы лорда Англии Вестея, который также считает ее своей.

Но вот все действующие лица вышли из русла крика и хор грянул маршевую песню:

Кунаманда — манду,
Кунаманда — манду,
Кунаманда — манду,
Бира бира,
Ой! Ой!

Это означает всего-навсего: «Мы собрались все вместе на площадке для корробори и ожидаем начала церемонии».

Из моей душевной темницы под одеялами я слышал, как стоявшие кругом зрители одобрительными замечаниями встречали приближавшуюся к ним цепочку разрисованных людей. Затем женщины натерли ноги каждому мужчине ниткой из человеческих волос, спливая, таким образом, с него запрет общаться с семьей. В знак возвращения к жизни мужчин еще намазали золой.

Двое участников церемонии были загрированы под собак. Один из них завтра произведет надо мной хирургическую операцию, а другой исполнит функции санитаря: будет подавать инструменты, то есть бритвенное лезвие и перевязочные материалы, обладающие «высокими» магическими свойствами: грязную болотную воду и белую глину.

Эти двое по очереди вышли из русла крика, лишь только распорядитель церемонии назвал имя собаки каждого. Сделав несколько шагов, они остановились, прислушались, снова пошли и снова замерли, пошли и замерли, двигались то быстрее, то медленнее, почесывали рукой за ушами. В зависимости от темпа движения менялся и темп шлоков, отбивавших ритм, в то время как хор непрерывно выкрикивал клички их собак.

На людях-собаках были волосяные пояса. Вскоре они поравнялись со мной, и я почувствовал, как пояса трутся о кусок чайного дерева, положенный сверх одеяла. Этим несложным символическим действием они давали понять моим соотечественникам, что те могут удалиться. С этой минуты церемония посвящения становилась лишь воскресным развлечением мужчин — юнгуваном, в котором женщины не имели права принимать участие.

С меня сняли одеяла, чему я был несказанно рад, но уходить не разрешили. Мужчины вернулись в лагерь, оставив со мной дядю Стэнли Марбуингу и двоих мальчиков, уже прошедших обряд обрезания.

Нервы мои напрягались все больше. Незнание пугало, и я, конечно, трусил. Мальчики успокаивали меня, потихоньку рассказывая, что произойдет дальше, хотя это было запрещено. Вы же знаете, как раскрываются тайны. Они шептались:

— Не бойся.

— Не плачь!

— Старайся быть сильным и смелым.

— Пусть мужчины думают, что ты не страшишься.

— Заставь их гордиться тем, что ты тоже алава.

— Не будь слабым, как женщина.

— Они удалят твою крайнюю плоть.

— Это будет больно...

— Но не так уж, чтобы кричать...

— Это быстро проходит...

— Но то, что у гобаоингу...

- ...или у джамбабоингу в Йиркала...
- ...которые молотком выбивают передний зуб.
- ...должно быть, очень больно...
- ...так помни же...
- ...будь мужчиной...

После наступления темноты хор вернулся и снова послышалось пение. Когда в лагере раздался свист, меня опять накрыли одеялами. Это был сигнал, что возвращаются разрисованные танцоры и мне по-прежнему нельзя их видеть.

Люди-собаки возглавляли танец мундиву. По команде вся процессия спряталась за кусты, и я снова остался с мальчиками. Хор затянул новую песню, ребятки тоже стянули одеяла, тотчас же сзади подошел мужчина и руками закрыл мне глаза.

Один из танцоров приблизился и дунул мне прямо в ухо, как бы вернув способность снова слышать все. Затем проведя руками под мышкой, своим потом потер мне глаза. Это означало, что теперь я мог смотреть на танцора номер один.

Вся эта процедура повторялась столько раз, сколько было танцоров, чтобы я мог глядеть на каждого.

Затем хор пропел мунггун — песню о дороге моих «сновидений». Танцоры вышли теперь группами: по двое, трое, четверо. К их ногам были привязаны ветки кустарника. Это был один из эпизодов тайной церемонии посвящения, которую не должны разглашать иницируемые.

Танцоры засыпали меня наставлениями и заклинаниями на валибуру — языке алава. Эту словесную атаку возглавили дядя Стэнли Марбунггу и мои двоюродные братья:

- Не гоняйся за женщинами!
- Не бросай коши в собак!
- Слушайся старших!
- Если тебе велят пробежать мило — пробег!
- Не спорь!
- Не возражай!
- Не дерись с товарищами, с сестрами и братьями!
- Избегай двоюродных сестер!
- Не теряй самообладания!

Пока меня таким образом наставляли, хор и танцоры напомнили о биллабонгах и реках, сотворенных Змеей радугой.

Мы считаем властительницей жизни змею. Ее символ — радуга. Она «прокладывает дорогу», превращая юных девушек в женщин, открывает путь в их чрево, чтобы туда могли проникнуть дети-духи и возродиться от их плоти. Мой народ не понимает, что зачатие — результат половой связи, и приписывает его действию одних только духов. По представлению аборигенов, женщина зачинает примерно так, как дева Мария.

Теперь вьихнули костры.

Женщины в лагере закрыли лица.

Дети не решились смотреть в мою сторону. Они онемели, инстинктивно понимая, что сейчас здесь происходит нечто важное.

Так мальчик превращался в мужчину племени. Костры означали, что собравшиеся с молчаливым рвением всеми силами содействуют этому.

Свищеннодействие все продолжалось, не останавливаясь ни на минуту. Оно возобновлялось снова и снова, двигаясь по дороге сновидений вплоть до рассвета.

Как только темный занавес ночи раздвинулся и послышался голоса ранних птиц, пришел конец моим ожиданиям. Теперь у «хирургов» будет достаточно света на «операционном столе».

На ложе из чайного дерева лег лицом вниз, выполняя роль живого матраца, мой свойственник Марди Мунггундинг. Дядя поднял меня и положил на тело Марди, спиной к спине. Вот выступить бы сейчас на сцену анестезиологу да сделать спасительный укол, который принес бы мир моей взволнованной душе!

Увы! Наши колдуны владеют сверхъестественным искусством убивать и излечивать, но ритуальные «хирурги» никогда не изучали анестезию.

Человек собака неслышными шагами подошел ко мне. Его лицо, безобразно размалеванное, но доброе, склонилось надо мной.

Вцепись в это зубами да по сильнее, тебе будет легче удержаться от крика, — сказал он и протянул мне клык из травы, камыша и тряпок. — Вцепись покрепче!

Я вцепился клык между зубами и тут же ощутил обжигающее прикосновение холодной стали. Операция продолжалась меньше минуты. Боль была такой сильной, что я шевельнул весь клык, но не издал ни единого звука.

Дядя Стэпли унес меня в шалаши и провел со мною несколько дней, пока я выздоравливал.

Я думал, что на этом все кончится, но тут мне пришлось испытать горькое разочарование.

Марбуунгу, назначенный племенем «воспитывать» меня: уподобившись христианскому богу-отцу, изложил мне законы племени.

Мне запрещалось есть жирных гуан, черепах, кустарниковых индеек и вообще любую жирную пищу.

Ни при каких обстоятельствах я не должен был разговаривать ни с кем, кроме отца, матери, дяди, братьев нескольких ближайших родственников. Мне предписывалось жить с двоюродными братьями, а сестер вообще избегать. Пока я выздоравливал, нельзя было купаться в реке, биллабонге или полномоводном крике: там меня могла проглотить таинственная Змея-радуга. Я простодушно верил в это и продолжаю верить до сих пор, несмотря на то что принял христианство и получил образование.

Я имел право беседовать у костра с мальчиками моего возраста, но при появлении мужчины немедленно умолкал. Если ко мне обращались с вопросом — а это случилось часто, — чтобы проверить мою внимательность и стойкость, я отвечал только кивком головы. А главное я не должен был разговаривать с теми, кто танцевал на церемонии инициации.

Эти дабу действовали не день, не два, неделю или месяц, а два долгих года. Нарушение каралось скорее символическим наказанием. Однако если бы я ослушался всерьез: то предназначавшиеся мне подарки — от мужчин игровые мячи, бумеранги и лодки, а от женщины перьевые браслеты — могли попасть в руки других мальчиков.

Приходилось подчиняться. Я выполнял все требования прежде чем открыть рот, раздумывал, можно ли обратиться к этому человеку; не замечал сестер, свойственников, теток и отказывался от жирной пищи, которую так любил.

Целых два года я ждал скромных подарков, с честью выдержал испытание на самообладание и сдержанность: теперь горжусь этим. Мне кажется, благодаря ему я стал лучше. Возможно, именно из-за запрета общаться с людьми аборигены неразговорчивы. Человек, обреченный в течение двух лет хранить почти полное молчание, редко становится болтливым.

И много племена, которые от подобных запретов только оцепенели бы.

Это относится вовсе не только к людям с черной кожей!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Но все мое детство было столь мрачным.

И проходил инициацию и был «отпет» в самом восприимчивом возрасте и никогда не забуду ни одного эпизода, относящегося к тем событиям. Именно потому, что они так свежи в моей памяти, я написал о них прежде всего. Но и ясно помню и другие события моей юности.

Собравшись стал цивилизованным человеком. Умею читать, писать, говорю по-английски, как на родном языке, хотя овладел им довольно поздно.

Мне предоставлено право гражданства. В миссии на юге Гонер я познакомился с христианской религией и был крещен в англиканской церкви. Получил несколько профессий: водителя санитарной машины, механика, садовника, фельдшера. Я сплю на кровати, ем ложком и вилок, мою пластью и регулярно моюсь.

И все же я не утратил унаследованные от предков инстинкты.

В субботу я с женой и шестью дочерьми отправляюсь охотиться на рабу или охотиться на Буффало-Крик, в Казуариновой долине, Ли Поит или в другое подходящее место около Доррина. Проработав, как все европейцы, целую неделю, в субботу я с удовольствием сбрасываю с себя оковы цивилизации. С копьем и бумерангом наготове крадусь по лесу, моя семья следует за мной, неся утварь для привала и еду.

Несмотря на отсутствие тренировки я, конечно, не так точно, как раньше, попадаю копьем в цель, но иногда мне все же удается убить валлаби, забывшего об основном законе осторожности. Ну а если промахнусь, то теперь это уже не беда: денег я зарабатываю достаточно, чтобы прокормить семью. Наши вылазки напоминают прогулки, потому что все же отдыхают на охоте и ловле рыбы белые.

И все же... все же для меня это не просто прогулка.

На охоте и встречаюсь со своим прошлым.

События всего я чувствую себя, когда, отрешившись от окружающей цивилизации, забыв о настоящем и будущем и все труды перенесясь в прошлое, сбросив с себя

почти все одежды, выхожу на охоту и пускаю в ход всю врожденную ловкость и умение выслеживать животное, которые не смогла истребить в нас современная культура.

В эти часы я ощущаю свою близость к далеким предкам, жившим по законам, которые они диктовали моим пра-пра-родителям, опасаясь того же, чего опасались они, верю в тех же духов, испытываю такой же страх.

Да, страх... В лесу, в десяти милях от Дарвина, я инстинктивно все время настороже, так же как когда-то в Арнемленде, где охота служила мне источником жизни.

Чего, казалось бы, мне бояться, зачем быть начеку, если пищу я добываю теперь иным путем, а близкий город вытеснил злых духов?

И тем не менее, продвигаясь вперед, и все время останавливаясь и прислушиваясь, а при малейшем колебании куста или травы, не вызванном ветром, застываю на месте, как тотемный столб. Каждые несколько шагов я оглядываюсь, не следует ли кто за мной. Если затрепещет ветка, я не сразу решаюсь идти дальше и на несколько минут застываю на месте.

Я далеко обхожу пещеры и небольшие участки зарослей, где может таиться засада.

За все годы охоты я ни разу не встречал в лесу ничего страшного... но знаю: что-то или кто-то там есть. Надо постоянно быть начеку, опасаясь... А вот чего?

Кто же все-таки может внушить мне такой страх?

Возможно, это пигмеи — крошечные люди, живущие в горах к северу от реки Ронер. Мои сородичи видели их не раз и называют бурджинджинами¹⁶.

О бурджинджинах я впервые узнал в том возрасте, когда белого ребенка ночью пугают букой. Дети, особенно девочки, часто потом всю жизнь боятся темноты.

Точно так же старейшины племени пугали меня пигмеями.

¹⁶ В существование народа карликов, или пигмеев, верят аборигены почти всей Северной Австралии, от Квинсленда на востоке до Кимберли на западе, хотя и называют их по-разному — бурджинджин, мими и мормо в Арнемленде, тиро тиро в Кимберли и т. д. Им, в частности, приписывается создание рисунков на скалах и в пещерах — рисунков, подлинное создание которых, далекие предки нынешних аборигенов, давно забыты. Однако для предположения о том, что этот народ действительно когда-то существовал или продолжает существовать в Австралии, нет никаких серьезных оснований.

— Будь осторожен, — говорили они. — Смотри в оба, не крадется ли за тобой пигмей. Это маленькие люди, всего трех футов роста, но они очень сильны. Бурджинджин может переломить алава кости и разорвать его пополам. Бурджинджин без труда несет вола на плечах, как муравей жука. Смотри же, будь осторожен! Гляди по сторонам, когда охотишься.

За всю мою жизнь я ни разу не видел бурджинджина, но никогда не забывал во время охоты оглядываться.

В легенду о бурджинджинах — если это легенда — верят не только на реке Ропер. Ее передают из уст в уста живущие к востоку от реки племена анула и гарава. Она доходит до самого Квинсленда. В нее верят на берегах лагуны Терн-оф, в миссии Думаджи, на реке Николсон, которая протекает в пятистах милях от Арнемленда.

Географы утверждают, что когда-то Австралия и Новая Гвинея были связаны сухопутным перешейком. В наше время на Новой Гвинее живет много воинственных племен пигмеев. Почему бы нам не верить, что они еще сохранились на континенте в тех местах, где мало белых людей?

Еще до инициации один старый абориген рассказал мне такую историю:

«Пошел я однажды охотиться. Шел, шел, шел, шел, а потом сел на землю. Привал.

Хорошо. На рассвете пошел я дальше. Шел, шел... Ага! Что-то там впереди? Кенгуру! Я тихонько за ним... Кладу копьё на вумеру... Ш-ш-ш-ш! Попал!

Но кенгуру не умер сразу. Он поскакал прочь, кровь из него капает, а он следы запутывает — туда-сюда, туда-сюда... Я за ним.

Бежал я, бежал по кровавому следу, наконец кенгуру свалился замертво. Я к нему. Смотрю, на том месте, где он лежал, большая лужа крови. Вижу, вокруг — следы и копьё мое рядом. А кенгуру нет. Исчез. Стал я тогда присматриваться и разглядел детские следы... Только оставил их вовсе не ребенок... Их оставил пигмей.

Того кенгуру унес бурджинджин. Я перепугался до смерти и как припустился бежать... Мчался без остановки, пока не стало совсем темно. И все время от страха тело мурашками покрывалось».

Когда старик кончил свою историю, я расхохотался, но запомнил ее на всю жизнь. И теперь всегда ищу глазами

пигмеев, особенно в сезон дождей, когда их может скрывать туман, опускающийся на холмы.

Многие мои друзья с реки Ронер утверждают, что своими глазами видели бурджинджина. У меня нет основания им не верить. Да и зачем бы старым аборигенам советовать нам остерегаться бурджинджинов, если бы тех на самом деле не было?

Одно всегда поражает молодых алава, которые уже не могут слепо верить рассказам стариков, ибо бурные воды цивилизации подмыли их веру: ни в одной истории о бурджинджинах не фигурируют женщины или дети пигмеев.

Без женщин не может быть детей. Без детей не может быть мужчин. Нам особенно трудно понять, почему в лесу не встречаются женщины и дети пигмеев, так как мы ходим на охоту целыми семьями: впереди величественно выступает охотник, за ним идут женщины и дети, сзади бегут собаки.

Мы удивляемся, но тем не менее легенде о бурджинджинах продолжаем верить. Я тоже верю. Так велит закон, дошедший до нас через поколения старейшин со Времени сновидений. Мне о бурджинджинах рассказал дядя, а я рассказку своим племянникам. Легенда о них останется частью нашей культуры, пока та в результате ассимиляции не исчезнет совсем.

Можно, конечно, смеяться над нами за то, что мы верим в бурджинджинов, но ведь и у вас духи, боги, дьяволы, карлики, гиганты, привидения, двойники и летающие тарелки существуют по сей день.

Другая притча рассказывает о маланутта-нутта, людях Каменного города, живших в Арнемленде на возвышенности около развалин города.

Маланутта-нутта были самыми обычными аборигенами из плоти и крови. Они выделялись только чрезмерной робостью, связанной, как это ни странно, с их кровожадностью.

Эти люди каменного века, жившие на скалистой возвышенности, были истые кочевники; они редко оставались долго на одном месте. Их потомки влились в племена ритарингу и рембаррига и, чтобы избежать лишней кочевой жизни, осели к югу от реки Ронер.

Арнемлендская возвышенность сильно изрезана. Она напоминает мне луиный пейзаж, как его изображают на

картинах. Дьявольские нагромождения обнаженных гранитных и песчаных выступов делают ее почти непроходимой для человека. Насколько мне известно, белые только один раз решились пересечь Каменную страну, да и то двигались по долинам рек.

Примерно каждые пять миль склон возвышенности венчает отвесная скала с острыми как бритва краями, простирающимися за горизонт. В полумиле или миле над ней подымается такая же отвесная скала, страшная в своей грозной симметрии. Между двумя скалами образуется величественная Долина Смерти, ведущая, подобно высохшему руслу реки, в никуда.

В этой-то жуткой, отвратительной стране и жили мала-нугга-нугга. Мы их не любили. И не только потому, что они часто похищали женщин алава. В нашем представлении возвышенность была связана с дьяволами и прочей нечистой силой.

Особую неприязнь мы питали к месту под названием Буррунджу (руины) на реке Роз. Это было скопление огромных утесов белого песчаника, поразительно напоминавших фасад европейского замка. Их геометрическое совершенство, казалось, безмолвно свидетельствовало об истоках архитектуры.

Однажды я приехал в Буррунджу верхом на лошади — местность была слишком неровной даже для моих мозолистых подошв. Мною тут же овладело неприятное предчувствие, что если я не поверну обратно, то встречу злых духов и их сородичей во плоти — маланугга-нугга.

Мы с друзьями разбили лагерь на гребне горы, милях в двух от Буррунджу, откуда он был хорошо виден. Уже тогда было страшно подъезжать к нему вечером, особенно после того что мы слышали и увидели в ту ночь...

Только я разложил мою поклажу и улегся на нее, не спеша попивая чай из жестяной кружки, как воздух пронесли пронзительные, демонические воли.

По телу пробежали мурашки, я задрожал от ужаса.

— Дьяволы! — воскликнул я.

— Да, — откликнулся мой друг Гуругул. — Черные дьяволы! Что делать?

Мы предпочли остаться на месте. По склону и днем-то трудно пробраться, а найти выход из этого лабиринта вечером и вовсе невозможно.

Только мы оправившись от первого испуга, как на стенах Бурруинджу, там, где полагалось быть окнам, зажглись огни!

Это нас поразило. Никогда в жизни я не видел таких ярких огней. Они то вспыхивали, то гасли, словно кто-то поворачивал выключатель: сначала освещалось одно «окно», затем другое, третье. Возникла целая цепочка неоновых огней, и это там, куда еще не ступала нога электрика!

Может быть, на самом деле дьявольские вопли были жалобным воем на луну стаи собак динго. А огни — гигантскими светлячками, казавшимися особенно яркими в стране, не знающей искусственного освещения? Или это было явление радиации?

Могу только сказать, что мне мерещились разные ужасы и, уж конечно, обезумевшие маланутга-пугга, которые носятся вокруг степ с зажженными фонарями.

Отдаленный грохот не давал мне прийти в себя; причину его мы поняли только тогда, когда порыв ветра, сорвав где-то глыбу, пробежал по дну долины, взобрался по склону и достиг нас. Ничуть не успокоила меня и стоявшая с несчастным видом лошадь. Вытянув шею в каком-то странном оцепенении, словно она и не пила и не ела, лошадь, казалось, ждала, когда наконец кончится эта ужасная ночь.

На следующий день после пережитого потрясения мы были весьма горды тем, что, набравшись храбрости, все-таки подъехали к Бурруинджу.

Как и следовало ожидать, при ближайшем рассмотрении оказалось, что Бурруинджу — это нагромождение стен из песчаника, сложенных великим каменщиком — временем, на которых напористые ветры прорезали зубцы; огромные пещеры с разверстыми голодными зевами, способными в один присест заглотать всадника вместе с лошадью; миллионы стилизованных рисунков охрой и белой глиной — дело рук прежнего поколения маланутга-пугга... Мы увидели человеческие кости, но никаких других следов человека не нашли!

Можете мне поверить, мы там не задерживались. Посмотрели — и назад, словно люди, которые заглянули в пропасть и в ужасе отпрянули от нее. Лошадей мы в тот день прищипоривали изо всех сил и неслись так, как будто опаздывали на свидание. Куда? На север, юг, восток

или запад от Каменного города, лишь бы как можно дальше он него.

Больше я в Бурруинджу не ездил и никогда не поеду.

Отец рассказывал, что при жизни моего деда маланугга-нугга устраивали набеги на алава, похищали наших женщин и убивали мужчин. Возможно, именно из-за этого алава осталось так мало.

Наших женщины уводили в горы, может быть, в такие места, как Бурруинджу, там, где мы нашли человеческие кости. Здесь женщины алава рожали детей маланугга-нугга и, пока могли это делать, оставались живы. Бесплодие означало для них неминуемую смерть.

Чтобы подкрасться к алава незамеченным, нужно обладать недюжинной хитростью и ловкостью, но у маланугга-нугга были оба этих качества. Быстро преодолевали они расстояние между водоемами, не разжигая костров, не разговаривая, стараясь не вспугнуть птицу, пока не нападали на мой народ, убивали спящих мужчин и захватывали в плен будущих матерей своих детей.

На языке валибуру нет более страшного слова, чем «гулгар». Так называли у нас набеги маланугга-нугга. Сотнями нападали они на нас, метали копья и бумеранги и, размахивая нулла-нулла, без разбору крошили черепа даже старикам и младенцам. Конечно, иногда и алава нападали на своих врагов, но, насколько я помню, редко возвращались с пленными. Поэтому в наших жилах течет сравнительно чистая кровь.

Потом, правда, нам стало не до разбойничьих племен аборигенов. Наше внимание привлекли первые европейцы. Сначала — потому что мы не желали видеть их в своей стране, затем — потому что у них были вещи, которых мы страстно хотели: ножи, топоры, зеркала, гребни, мука, свежее мясо.

При жизни моего деда через всю страну протянули «поющую струну» — трансконтинентальную телеграфную линию. Тогда по реке Ронер переправляли тяжелые столбы и выгружали их у отмели. Мы получили от белых свою долю товаров и их жизней, но и сами дорого заплатили имевшейся у нас валютой: собственной кровью.

Когда-то алава были убеждены, что им предопределена власть над всеми аборигенами. Такие фантастические идеи не чужды и белым. Чтобы достигнуть этой цели, мои соплеменники напали на лагерь трансконтинентальной телеграф-

ной линии, похитили несколько ружей и отправились за Ропер, в Ваданарджа, на поиски племени мара. Оно недавно совершило набег на нас, и теперь настал час возмездия. Следующие на очереди были маланутга-пугга. В этот день, однако, люди падали наземь, сраженные только копьями и бумерангами. Алава бесцельно палили из ружей в воздух, не зная, что убивает пуля, а не звук выстрела. Их мечты о власти не сбылись. Кровожадные маланутга-пугга остались неотомщенными.

Столь же неудачным было наше первое знакомство с мукой, основным продуктом питания всего человечества. Алава стали пользоваться мукой вместо белой глины для разрисовки тела перед корробори. Когда набеги на строителей телеграфной линии уже были забыты, один отзывчивый путешественник научил нас употреблять муку по ее прямому назначению. С тех пор у каждого чернокожего, нападавшего на лагерь белых, стало два врага: сами белые и аборигены из других племен, старавшиеся опередить своих соплеменников при набеге на склад.

Может быть, есть высшая справедливость в том, что потомки маланутга-пугга, слившиеся сейчас с племенем ритарнгу и рембаррига, были вынуждены покинуть Каменную страну и поселиться на реке Ропер. Некоторые из них направились в другую сторону, на север, в Йиркала, на остров Элко, в Милингимби на северном побережье самого большого в мире резервата аборигенов. А племенная земля маланутга-пугга, составляющая тридцать тысяч квадратных миль, пустует.

При желании они могли бы продолжать жить здесь, но над ними довлечет цивилизация. Они хотят, чтобы их дети учились, а получить образование можно только в миссиях и государственных поселках.

И вот не стало кочевников, воинственные племена больше не совершают набегов, медленно исчезает наша племенная культура.

И все же в душе каждого аборигена живут традиции. Ритарнгу и рембаррига, хотя они и не чистокровные маланутга-пугга, храня верность памяти отцов, присоединившихся к этим племенам, каждый год отправляются на охоту в Каменный город. Но вряд ли они приходят в Буррунджу, где я встретил печальных, но страшных духов маланутга-пугга.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В каком-то смысле мой контакт с большим миром белых начался чуть ли не в тот самый день, когда я появился на свет как истинное дитя леса.

За несколько лет до моего появления на свет миссионерское общество основало евангелистскую миссию в двадцати милях вниз по течению реки от отмели Ропер, названной так потому, что здесь могли пройти разве что выдолбленные из стволов деревьев лодки...

Отдохнув в лесу дня два или три, мать с гордостью понесла меня в миссию. Мой отец Барнабас Габарла работал там пастухом и объездчиком, зарабатывая у гуртовщиков и фермеров на пропитание своей семье.

Постоянным нашим «лагерем» — вряд ли это жилище заслуживает более громкого названия — была хижина из коры размером в двенадцать квадратных футов, состоявшая из одной-единственной комнаты.

Когда наша семья собиралась в полном составе, в этой комнате спали: мать, отец, моя сестра Мерция, братья Силас и Джекоб и я.

Такое скопление людей имело известные неудобства. Помещение было слишком мало, чтобы вместить шесть кроватей, поэтому все мы спали впопалку на полу, накрывшись одеялами, которые нам дали миссионеры.

Скрыть что-либо в таких условиях было невозможно. Задолго до инициации я уже знал, что муж и жена ночью не только спят. Впрочем, живя я в одном из многочисленных лагерей аборигенов в долине реки, где акт физического сближения если не публичное зрелище, то во всяком случае такое, которое не стремятся скрывать, я бы, конечно, получил в этом отношении не менее наглядное воспитание.

Потребности наши ограничивались лишь самым необходимым. Денег совсем не было. Я даже не знаю, что бы мог сделать тот из нас, кому посчастливилось бы найти стофунтовый банкнот. Поблизости не было ни магазинов, ни других заведений, где его можно было бы истратить. Сомневаюсь, видел ли я даже монету до того, как пошел в школу. Деньги нельзя было съесть или надеть на себя, а следовательно, они не имели для нас никакой практической пользы и были лишены какой-либо ценности. Впрочем, даже в главной валюте леса — пище — наши

потребности были сильно ограничены законами племени.

Всякую крупную добычу тщательно делили. Кенгуру, например, разделявали так, чтобы всем сородичам досталась причитающаяся им по праву порция.

Сам охотник по традиции получал спину, хвост и голову забитого животного. Правая нога принадлежала дяде охотника со стороны матери. Выделялись куски для его родителей и других близких родственников. Как сказано в Библии:

«И взял (Моисей) тук, и курдюк, и весь тук, который во внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо... и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его».

Родственник, убивший кенгуру, должен был по обычаю прислать мне мою порцию, может быть, с теткой или двоюродным братом. Но права мои были столь бесспорны, что я мог, не опасаясь отпора, войти в лагерь охотника и сам отрезать свою долю от еще не разделанной туши.

Кенгуру пасся на траве, принадлежащей всему племени. Племя его не трогало — поэтому он остался жив. Ясное дело, племя могло требовать своей доли.

Никто из нас никогда не оспаривал право другого на причитающуюся ему долю, хотя иногда поговаривали о том, что тот или иной лентяй мог бы почаще ходить на охоту.

Мне кажется, что в этом отношении аборигены были первыми коммунистами на земле. Наш образ жизни предполагал систему коллективной поддержки — каждый получал по потребностям, но зато и должен был вносить вклад в общее достояние по своим охотничьим способностям. Тем не менее наша глубоко религиозная философия — безусловно, абсолютно языческая — не позволяет нам стать поборниками современного диалектического материализма.

Мой дядя по линии матери — Гардигарди — обязан был поддерживать меня не только при распределении добычи. Я мог, не спрашивая, взять буквально любую его вещь — лодку, копье, бумеранг... Они принадлежали ему, а следовательно, и мне.

Этот закон чрезвычайно осложнил жизнь художника из племени араанда — Альберта Наматжиры¹⁷. Он оказался

¹⁷ Альберт Наматжира — всемирно известный художник из центральноавстралийского племени араанда. В прошлом простой погонщик верблюдов, он научился искусству акварельной живописи.

богатым дядюшкой значительно большего числа аборигенов, чем предполагал. Племянники его были совершенно взрослыми людьми и сами имели многочисленное потомство, которое им в свою очередь приходилось поддерживать. В результате сам Наматжира превратился в некий банк с неограниченным кредитом, этакое утопическое предприятие, из которого можно было брать сколько угодно, ничего не вкладывая взамен. Большая часть этих прихлебателей была связана с художником весьма отдаленным кровным родством, но тем не менее он всех их кормил и поил.

Прежде всего племянники потребовали, чтобы Наматжира купил им грузовую машину в общее пользование. Ни у одного аборигена не было грузовика, и аранда загорелись этой идеей. Им хотелось владеть секретом движущей силы, и к тому же четыре колеса значительно быстрее, чем две ноги, покрывали расстояние в восемьдесят миль, отделявшее Германсбургскую миссию, где они жили, от Алис-Спрингс, где они собирались. Кроме того, грузовик придавал аранда огромный престиж в глазах соседей, которые их посещали или — что чаще — которым они сами наносили визиты.

Каждый из аранда изучил генеалогическое древо семейства Наматжиры до самых глубоких корней, ибо знал, что, доказав свое хотя бы самое отдаленное родство с художником, сможет присоединиться к его свите.

си у белого художника Рекса Баттерби и стал не только замечательным живописцем сам, но и основал школу живописцев-аборигенов. Австралийское правительство было вынуждено в конце концов уравнивать Наматжиру в правах с белым населением страны и даровать ему те права, которых лишены другие аборигены. К их числу относилось и употребление алкогольных напитков. Как человек, всеми корнями связанный со своим народом, с его обычаями, традициями и культурой, Наматжира не мог не делиться с соплеменниками всем, что имел сам, и должен был поплатиться за это тюремным заключением. Закон белого человека вступил в противоречие с законом его собственного народа — и Наматжира отдал предпочтение последнему. Дело Альберта Наматжиры вызвало громкий отклик в Австралии и других странах. Люди, понимающие, что Наматжира является в конечном счете жертвой расовой дискриминации, требовали оправдать его. Несмотря на это, он был осужден и выслан в отдаленную резервацию, где вскоре умер. В трагической судьбе Наматжиры повинны, конечно, не его соплеменники, а несправедливые законы страны, в которой одни люди пользуются всеми человеческими и гражданскими правами, а другие — бесправны.

В 1950 году Альберт зарабатывал тысячу фунтов в год. Через пять лет его доход возрос до трех тысяч пятисот фунтов. В 1959 году только продажа картин принесла ему фантастическую сумму в семь тысяч фунтов, не считая отчислений за право репродукции.

Тем не менее Наматжира умер без гроша в кармане. Хищные соплеменники не только выклянчили у него последний шиллинг, но по сути дела даже засадили его за решетку: по их настоянию он делился с ними спиртными напитками. Наматжира имел права гражданства и мог поэтому употреблять алкогольные напитки, но его сородичам, находившимся под опекой государства, это было запрещено. Тот, кто давал спиртное аборигенам, наказывался тюремным заключением сроком по крайней мере на полгода. Альберт не мог не пить со своими родичами. Они получили то, что хотели, а он попал в тюрьму. Такой приговор вынес ему суд белого человека.

Я рассказал эту историю только для того, чтобы показать, в каком невыгодном положении находятся дядья у аборигенов.

Мой дядя Гардигарди подчинялся тому же закону, что и Наматжира. Действие закона распространялось, конечно, и на моего отца. Того, в свою очередь, бессовестно эксплуатировали его племянники.

Принцип дележа добычи не касался змей. Охотник, поймавший змею, имел право один съесть ее, если, конечно, она не была его табу. Фактически змей почти всегда отдавали старым людям, которые уже не в состоянии были жевать жесткое мясо кенгуру.

Змея считалась «мягкой пищей», но, если ее не было, старики отбивали о камень мясо кенгуру. Иногда его пережевывали ближайшие родственники, так что старикам оставалось только проглотить. Что за радость от такой еды! Не больше, чем от витаминов в таблетках.

Мой отец вместе с другими пятьюдесятью аборигенами работал в миссии, но никогда не знал, сколько времени еще продлится его работа и когда мы снова будем вынуждены добывать пропитание только охотой. Поэтому мы старались не разучиться метать копьё. Каждую субботу ходили охотиться на кенгуру и собирали корни лилий в заводях. Обычно мы ничего не ели, пока не убивали добычу, что случалось не так уж часто. Нет на земле человека голоднее, чем чернокожий охотник. Его глаз видит лучше,

а копья попадают точнее, если он знает, что промах лишит его пищи.

Детство у меня было веселое, хотя мои дети уже не захотели бы так жить. Одной из наших излюбленных забав была игра в лошадки. Недаром миссия имела большие стада, а мой отец был лучшим гуртовщиком.

Из камней, палок, обрывков веревки или проволоки мы мастерили игрушечные загоны. Одни мальчики были лошадьми, другие — восседавшие на их спинах — пастухами, третьи изображали телят. «Пастухи» связывали «телят», опрокидывали наземь и наносили песком, смешанным со смолой, знак ОТС — клеймо нашей миссии, даже «подрезали хвосты» и «кастрировали» их. «Телята» жалобно мычали.

Мы сражались игрушечными копьями, концы которых были обернуты тряпками, чтобы при ударе не поранить «врага». Мальчик, «пронзенный» копьем, должен был упасть. К нему подбегали девочки и оплакивали своего погибшего брата. Это единственная роль, которую им доверяли. Юные аборигены, очевидно, относятся к девочкам с большим презрением, чем белые мальчики. Девочек в игре не принимали, им только милостиво разрешали оплакивать павших. Это вполне соответствовало их положению в жизни.

Мы сражались также с помощью бумерангов и нулла-цулла. По правилам игры не следовало причинять противнику боль, но мальчикам, как известно, свойственно увлекаться. Сначала мы обменивались легкими ударами, потом один кричал, что его стукнули сильнее, чем разрешается, и в свою очередь отпускал здоровую затрещину, а противник в отместку размахивался изо всех сил. Серьезно пострадавший получал компенсацию в соответствии с той же системой возмездия, которую практиковали взрослые. Обидчик отдавал ему свою лепешку или тарелку риса, то есть оставался голоден, тогда как его противник наедался до отвала. При особо серьезном и к тому же преднамеренном ранении виновник мог поплатиться ценной вещью, например копьем для охоты на рыб, изготовленным его отцом. Расставаться с копьем не хотелось. Но что было делать? Пострадавший мог пожаловаться отцу товарища, что его сын, Вайцулданья, то есть я, ранил его до крови. Я был согласен на любые лишения, лишь бы избежать последствий такой жалобы: основательной пор-

ки палкой, которая ранила гордость ничуть не меньше, чем тело.

Больше всего радости нам доставляли маленькие лодки, вмещавшие троих или четверых ребят. Отец выдолбил мне такую лодку из ствола чайного дерева, и я с товарищами и братьями часами не снеса греб по спокойной поверхности реки Ронер, проходя то в одну, то в другую сторону расстояние в полмили между «молом лагеря» и «молом миссии».

Все мальчики, и черные и белые, всегда нарушают запреты, налагаемые старшими, но могу сказать, положа руку на сердце, что одному такому табу мы подчинялись беспрекословно: никогда не покидали участок реки, где нас видели взрослые, по той простой причине, что боялись крокодилов, деливших с нами реку.

— Смотри не зевай, а то угодишь крокодилу прямо в пасть,— была наша постоянная присказка. Мы располагали очевидными доказательствами ее справедливости.

Однажды вечером шестнадцатилетняя Гиригбал пошла со своей двоюродной сестрой за водой. Воду обычно приносили днем женщины, собираясь большими группами, но на этот раз в лагере не осталось ни капли воды и девушек послали на реку.

Крутой берег, поросший травой и тростником, в свете луны казался таинственным и мрачным. Гиригбал опустила билликэн¹⁸ в воду, сильно перегнувшись над обрывом, а Гуртима тем временем удерживала ее за талию, чтобы девушка не потеряла равновесие.

Как только билликэн Гиригбал коснулся воды, крокодил отхватил ей кисть руки. Девушка вскрикнула от боли и в ужасе отпрянула. С руки ее, на которой обнажилась кость, потоками текла кровь. Счастье ее, что крокодил не успел ухватиться своими страшными челюстями чуть выше, иначе Гиригбал осталась бы без руки, а мы, скорее всего, без Гиригбал.

Помню, как Гуртима втаскивала сестру на берег и отчаянно звала на помощь:

— Йак-ай! Йак-ай! Йак-ай!

Прибежали мужчины с горящими факелами и прощупали кольями все мелкие места, но людоеда и след простыл.

Этот случай я запомнил на всю жизнь. Поэтому, когда

¹⁸ Б и л л и к э н — сосуд для воды из коры.

плавал в лодке, меня не тянуло послушаться старших и выйти за мол.

Я знал, что крокодилы исключительно коварные животные. Часами, а иногда и целыми днями лежат они без движения и, только убедившись, что им ничто не угрожает, совершают нападения.

Мой отец пытался поймать крокодила на отравленную приманку, привязанную к ветке сосны Лейхардта, свисавшей над водой. У него был стрихнин, его дали миссионеры, чтобы травить собак динго. Но зачем травить динго, у которых такое жесткое мясо, когда с помощью яда можно добыть жирного крокодила? Вот отец и расставил свои ловушки.

Шли дни, а крокодилы не притрагивались к приманке. Отец заменил ее свежими кусками мяса, но забыл положить в них стрихнин. В ту же ночь мяса не стало.

Вся эта процедура повторялась несколько раз. Теперь отец уже нарочно не отравлял мясо стрихнином, желая проверить, действительно ли крокодил отличает отравленное мясо от хорошего, и вскоре убедился, что это так. Свежее мясо немедленно пожиралось, а отравленное оставалось. Мы поняли, что имеем дело с представителем отряда ящеровых, который мыслит.

Все-таки иногда животное попадало впро�ак. Хорошо помню, как Алан Гумаламалай, мужчина атлетического телосложения из племени нганди, подражая вою раненой собаки, выманил крокодила на берег.

Выл он артистически. Иначе крокодил просто не поверил бы ему. Потом Гумаламалай замолчал и осторожно постукивал по воде своей вумерой. Раздался звук — лап-лап-лап-лап-лап — словно шила собака. Крокодил поддался на обман, быстро выскочил из воды и, обойдя небольшой мысок, где притаились Гумаламалай и двое его товарищей, кинулся на воображаемую жертву, но тут трехзубое копье охотника вошло ему под бедро и достигло свирепого сердца. Смертельно раненный зверь, удивленный и разъяренный тем, что его провели, приподнялся и стал наносить шишковатым хвостом удары во все стороны. Воспользовавшись тем, что мягкое брюхо оказалось открытым, второй охотник всадил в него у самого основания позвоночника лопатообразное копье и разворотил им брюхо крокодила.

Десять мужчин, по пять с каждой стороны, несли на плечах, как гроб, огромное тело футов двенадцати в дли-

ну. Хвост и морда чудовища покачивались в такт их шагам, короткие толстые ноги загребали воздух.

Процессия гордо прошеествовала между рядами людей, выстроившихся в строгом порядке: старики, молодые мужчины, мальчики, а потом уже женщины и девочки.

— Жирный! — кричали мы.

Это был самый большой комплимент охотнику.

— Мордастый!

— Большой!

— Мертвый!

Последнее замечание было встречено громким смехом.

Мы шлепали крокодила, трогали оба клыка, выступающих из пасти подобно бивням слона, изумлялись двойному зазубренному пилообразному гребню, тянувшемуся по спине и хвосту.

Так вот чем он перениливал деревья!

Мало кто представляет себе, насколько сильны крокодилы. Мы видели их часто, но всегда издалека. При приближении наших лодок крокодилы, выдохнув отработанный воздух, опускались вниз, подобно подводным лодкам.

Впоследствии я стал профессиональным охотником на крокодилов и не раз один на один схватывался с людоедами. Но тогда это был первый крупный крокодил, которого я увидел вблизи.

Я понял, каким образом крокодилу удавалось спилить дерево на высоте фута от земли. У водопоя, который посещали лошади, он словно пилой срезал шестидюймовую сосну Лейхардта. Я видел даже эвкалипт, надрезанный им на глубину трех дюймов.

— Крокодил хотел его свалить, — сказал отец.

Ощупав острые гребни крокодила и сильные мускулы около них, я живо представил себе, каким образом он это делает.

Я понял также, почему охотники стараются привязывать металлические острия к древкам коней длинными волокнистыми мышцами крокодильего хвоста, предпочитая их мышцам хвоста кенгуру.

— Если обвязать острие коня мышцей крокодила, оно уже не сдвинется с места, — учил меня дядя.

«Так вот что убивает лошадей!» — подумал я.

В сухой сезон, когда река мелела и билабонги пересыхали, наши мужчины часто находили следы лошадей. Несчастные животные на пути к воде застревали в тря-

сине. Здесь крокодилы оглушали их ударом могучего хвоста и затаскивали в реку.

Может ли грозное пресмыкающееся вытянуть лошадь из трясины? Безусловно может, и не только лошадь, но даже вола. Это каждый год случается на берегах реки Ропер, где жизнь не очень изменилась с тех пор, как много тысяч лет назад дравиды пришли из Азии и остались в Австралии, может быть застигнутые врасплох катаклическими переворотами, уничтожившими сухопутные перешейки между материками¹⁹.

Лошадям пришлось пасть на прибрежных равнинах, покрытых тростником и зеленой травкой, но все чернело у них перед глазами, когда они увязали в трясине и видели приближающегося крокодила. Одного удара могучего хвоста было достаточно, чтобы разmozжить лошади голову. Продвигаясь на хвосте, спиной вперед, ящер тащил лошадь из трясины в реку, где никакие законы не запрещают крокодилам употреблять в пищу конину.

На берегах Ропер, однако, не было никаких законов, запрещавших людям употреблять в пищу мясо крокодила. Ничто не могло помешать нам есть людоеда. Пойманный на этот раз крокодил был слишком велик, чтобы его можно было изжарить целиком, поэтому его освежевали и по традициям племени разделили на куски.

Отец принес свою долю в наш лагерь. Еще до его возвращения мать принялась накалывать камни, вынутые из земляной печи, где мы готовили почти всю нашу пищу; вскоре они пылали жаром. Она выложила дно печи листьями белого камедного и чайного дерева, чтобы в мясо не попал песок и травы придали ему аромат, необходимый для получения пикантного, вкусного жаркого «крокодил по-гумаламалайски». Затем мать опустила

¹⁹ Согласно одной из теорий, аборигены Австралии (всего континента или только северной его части) происходят от дравидов, пришедших из Южной Азии много тысяч лет назад. Народы, говорящие на дравидийских языках, и ныне населяют Южную и частично Центральную Индию. Между ними и аборигенами Австралии, действительно, антропологически немало общего. Не следует, однако, смешивать антропологический тип населения и язык, на котором оно говорит. Современная наука свидетельствует о том, что предки австралийских аборигенов появились в Австралии впервые около тридцати тысяч лет назад. Что же касается лошадей и рогатого скота, то эти животные появились в Австралии вместе с европейцами в конце XVIII в.

камни обратно в печь, на них положила куски мяса, присыпала изысканное блюдо пеплом и побрызгала водой, чтобы оно не сгорело, а сверху накрыла корой чайного дерева и песком. Все мы уселись вокруг в ожидании, глотая от нетерпения слюни.

Как долго жарится крокодил? А мясо кенгуру? А гуана? Это зависит исключительно от аппетита и настроения охотников.

Бывало, возвратясь с охоты, я требовал, чтобы убитого мной кенгуру только слегка обжарили на камнях, ну, скажем, в течение десяти минут, за которые его мех едва-едва успевал опалиться. В другое время, на сытый желудок, я не возражал, чтобы он жарился хоть два часа. То же самое с крокодилом: его мясо считается готовым, когда ждать больше невозможно.

Вскоре я сам стал ловким охотником. Мне еще не было и десяти лет, а я уже умел добывать пищу — находить ее, похищать, например козье молоко, убивать животных копьём или ловить в западню.

Мы любили выйти вместе с пастушками — пожилыми женщинами нашего племени и, изловчившись, прокатиться на козле. Стадо разбегалось в разные стороны, старухи кричали вне себя от ярости. Иногда мы предлагали им постеречь стадо, пока они будут собирать корзики лилий в заводи, но это была лишь уловка, помогавшая нам как можно быстрее вскочить на козлов.

Для этого надо было как следует побегать, после чего, конечно, хотелось пить. Воды у нас было сколько угодно, но она изрядно падала, а здесь под рукой молоко: и питье и еда одновременно.

Раз или два я пытался приложиться прямо к соску козы, но в рот мне не попало ни капли. Я никак не мог понять, как это козлята не умирают от голода. Мы, однако, наловчились пить иначе: один из нас тянул сосок и направлял струю молока в открытые рты приятелей.

Если бы только в рот! Шутки ради доильщик пускал струю в глаза или нос товарища, и вскоре все мы были в молоке с головы до ног. Козы жалобно блеяли, на помощь им прибегали женщины и разгоняли нас.

Одно время миссия имела четыреста коз, так что нам было за кем гоняться, но поголовье животных резко падало, если пастушки позволяли им приближаться к реке.

Козы, существа любопытные и бесхитростные, легко

становились добычей крокодилов, которые любили полакомиться козлятиной. Как ни старались пастушки отогнать стадо от воды, упрямых животных так и манила к себе зеленая травка на берегах Ропер. Они бежали к ней с холма. Многие уже не возвращались.

Но больше всего мне нравилось ловить рыбу с лодки. При этом я не только испытывал удовольствие и чувство опасности, но добывал еду и учился владеть копьём, с которым управлялся довольно лихо.

Небольшая долбленка точно отвечала своему названию. Из ствола сосны или чайного дерева ножами и топорами — а наши деды камнями — выдалбливали середину, и вот уже примитивная лодка готова.

Круглое днище лодки, не имевшей к тому же кля, делало ее чрезвычайно неустойчивой. Тем не менее мы со временем научились удерживать ее в равновесии, даже когда из троих или четверых ребят, сидевших в ней, один вставал во весь рост, чтобы метнуть копьё в рыбу.

Мы, конечно, не раз переворачивались вверх дном, прежде чем достигли совершенства, управляя лодкой. Но мысль о крокодиле, который может «пощекотать» тебе ноги, пока ты барахтаешься в реке, помогала нам быстро поставить долбленку на воду и взобраться на борт.

Подгоняемый страхом, каждый мальчик тянул лодку к себе или греб в свою сторону. Труднее всего им было согласовать свои усилия, чтобы она не перевернулась снова, пока они влезают на борт.

Река стала для нас райским уголком, долиной счастья, где не оставалось места для скуки. Ее берега то и дело откликались эхом на наши крики и возгласы, пока мы медленно плыли по течению, высматривая добычу. Один греб, второй вычерпывал воду, третий стоял наготове с трезубым копьём в руке.

— С-с-с-с!

Это даже не шепот, а еле заметное движение губ.

— С-с-с-с!

Весло становится рулем, меняющим направление движения лодки.

— С-с-с-с!.. Уиш!

— Попал! Попал! Вайцулданья попал! Смотри, смотри! Брызгун! Да-да, брызгун! Рыба, которая выпускает изо рта струю воды и сбивает ею насекомых в воду.

А Вайнулданья ее поймал! Гляди-ка! Он пронзил ее копьём. Э-э-э-э! А-а-а-а!

Пастушки, с берега наблюдавшие за рыбной ловлей, смеялись до упаду.

Глупая рыба извивалась, пытаясь сорваться с трезубого копьё. Вскоре мы ее испечем в земляной печи, устроенной в потайном месте на крутом берегу реки, на таком расстоянии от лагеря, где нашу печь не могут увидеть старшие. Мы вовсе не были обязаны делиться рыбой с племенем. Чтобы поощрить мальчиков охотиться с копьём, добыча в награду доставалась им самим. Но ведь она казалась еще вкуснее, если мы съедали ее втайне от старших!

Как скучно, наверное, было на реке в то время, когда аборигены еще не знали, что такое проволока и тонкие стальные прутья! Белые дети космического века не могут представить себе мир без радио и автомобилей. Мне так же непонятно, как могли существовать мои соплеменники до изобретения копьё для рыбной ловли.

Мой дед Нэд Веари-Вайнингга рассказывал мне, как они в детстве ловили рыбу: из тростника плели корзину конической формы и ставили ее в билабонг. Предполагалось, что рыба сама туда заплывает, и она действительно заплывала. Уловы тогда были огромные — во всяком случае, если верить рассказам деда.

— Но ведь вы, дедушка, не знали главной радости — бросать копьё в серебристую баррамунди и видеть, как она на нем бьется, — говорил я.

— У нас были свои радости, — отвечал он. — Мальчишки находили другие забавы. Пока ловилась рыба, мы могли охотиться на кенгуру. Для этого у нас были копьё с каменными наконечниками. Корзины на рыбу мы ставили вечером, а на заре они уже были полны. Нет, копьё нам были ни к чему. Если же хотелось поразвлечься, ну что ж, рыбу ловили и голыми руками.

— Голыми руками? — переспрашивал я недоверчиво.

— А что ж? Очень даже просто. Положим на воду рака и хлопаем по поверхности его широким хвостом. Это для баррамунди все равно что обеденный гонг. Через несколько минут она всплывает с широко раскрытой пастью, направляется прямо к раку и заглатывает его, как питон кенгуру. Баррамунди хорошо слышит, но обоняние у нее плохое, да и жадность ее губит. Заглатывает она рака и при-

нимается за руку, доходя таким образом до самого кистевого сустава. Вот тут-то мы быстро просовываем пальцы в жаберные щели и выбрасываем рыбу из воды.

Умей рыба выразить удивление, баррамунди превратилась бы в сплошной восклицательный знак. Секунду назад она плотно поужинала раком, уже хотела закусить рукой аборигена и медленно продвигалась вверх по ней, как вдруг нежданно-негаданно очутилась, задыхаясь, на берегу! А ты говоришь, не было радости... Но с тех пор как у нас появился первый моток проволоки, я уже никогда не видел, чтобы мальчики ловили рыбу таким способом.

Что ж... Может быть, это и так. Но и мы тоже по-разному применяли трезубое копьё. Иногда делали запруды из кустарника, в ней оставляли один-единственный проход для рыбы, а сами становились рядом по колено в воде. Дно илистое, мы, бывало, взбаламутим воду, рыбы и идут наверх. Вытаскивали их десятками. Это все равно что стрелять сидящих на реке уток.

Кроме того, мы отравляли воду корой дерева мурганова — пресноводного мангрового, в изобилии росшего на берегах Ропер. Сколько раз я сам обдираю кору, лианой бунбунгари привязывал ее в земляной печи к раскаленным камням, а когда кора начинала с шипением выделять ядовитый сок, бросал ее в воду. На следующий день весь билабонг был покрыт дохлой рыбой.

А как-то раз мы устроили такое, что получили хорошую взбучку от миссионеров и старейшин племени.

Это был случай с похищением карбида.

Однажды у мола разгружали судно, доставившее среди прочего груза банки с карбидом, необходимым для освещения здания миссии. Мы, мальчишки, как обычно, сидели на берегу и смотрели. Из трюма выгружали мешки с мукой, банки джема, ящики чая... Вдруг слетела крышка с банки с карбидом и упала в воду. Тут же послышалось шипение.

— Туман!

— Облако!

— Пар!

— Дым!

У каждого из нас нашлось свое объяснение облачку газа, поднявшемуся над рекой, но дальше произошло настоящее чудо. Один из белых рабочих миссии бросил

зажженную спичку, газ ярко вспыхнул и горел несколько секунд. У нас от удивления глаза на лоб полезли.

— Я волшебник, — сказал рабочий, — и могу заставить гореть воду.

Это произвело на меня куда более сильное впечатление, чем все виденные ранее трюки белых людей. Водой, я знал, огонь заливают, но чтобы вода горела?

— Вот это да!

— Смотри, смотри, вода горит!

— Это, верно, дьявольская вода, прямо из преисподней, а?

Мы изоцрялись в догадках, и только одни наши товарищ, Джимми Юдбунджи, как ни странно, молчал. Джимми слыл среди нас своего рода теоретиком. Он всегда находил способ, как проще сделать кошье и лучше поразить им рыбу. В тот вечер он сидел около костра, положив голову на руки и, не отрывая глаз от огня, наблюдал, как прогорают поленья, как они тлеют, превращаясь в угли, проходя все оттенки цветовой гаммы.

Наконец я не выдержал.

— Что с тобой? Может, заболел?

— Нет, — ответил он. — У меня этот карбид из головы не выходит.

— Да, вот потеха была. Но ты не смеялся.

— А мне и не было смешно.

— Тогда о чем ты думаешь? И что тебе до карбида?

— Ничего, — ответил Джимми. — Ничего. Просто я подумал, что им можно глушить рыбу.

Теоретик, мозг нашей компании, не дремал. Мы были в восторге.

— Как? Как, Джимми?

Джимми вытащил длинную узкую жестяную банку с навинчивающейся крышкой вроде футляра от электрического фонарика.

— Мы наполним ее карбидом и водой, под давлением газа она взорвется, — пояснил он. — Если это произойдет под водой, то взрыв убьет много рыбы. Может, рядом окажется любопытная или голодная баррамунди, и она проглотит всю банку.

План был встречен с энтузиазмом, но Джимми поспешил охладить наш пыл.

— Нужно братья за верх банки и немедленно бросать ее в воду, иначе вместо баррамунди взорвемся мы.

Предложение было поставлено на голосование, и совет младших решил, что следует приступить к осуществлению проекта.

Мы наполовину наполнили банку карбидом, украденным со склада миссии, добавили кружку воды, завинтили крышку, как ручную гранату, бросили банку в реку и, сгорая от нетерпения, ждали, что будет дальше.

— Вот всплывает большая рыба.. Хочет попасть к нам на обед,— приговаривал Джимми.

Мы ждали. Ждали, казалось, бесконечно. Мы-то думали, что через несколько минут от нашей банки земля вздрогнет и вода выйдет из берегов. Но раздался еле слышимый звук, крышка вылетела, а за ней на поверхности воды показалось несколько пузырьков и тоненькая струйка газа. Оглушили мы всего лишь нескольких мальков.

Джимми не был удовлетворен.

— Надо попробовать еще раз,— сказал он— В субботу после школы возьмем галонную банку карбида со свинцовой крышкой.

— Ты можешь взорвать миссию,— заметил я.

— Я и себя могу взорвать, но надо же посмотреть, что получится.— Джимми был настоящий исследователь.

Всю эту неделю мы перешептывались, обменивались многозначительными взглядами и знаками, которые только нам одним были понятны. Наконец наступила суббота и взошло солнце, как пылающее предзнаменование того, что в этот день мы высвободим в глубине реки яростную силу, сотворенную руками человека.

На этот раз мы уменьшили содержание карбида и воды, оставив достаточно места для образования газа. Крышку не только завинтили, но и прикрутили веревкой, чтобы ее не сорвало сразу. Затем привязали к банке камни и бросили ее в воду, замирая от страха, что создали не менее смертоносную мину, чем те, что бросают во время войны белые люди.

Я испытывал глубокое уважение к Джимми Юдбунджи как к изобретателю, но не был вполне уверен, что он властен над своими изобретениями, и, пока мы напряженно ждали, чтобы наш горшок вскипел, предусмотрительно спрятался за дерево. К моему великому удивлению, Джимми, видимо тоже не очень уверенный в своих силах, по моему примеру бросился за соседнее дерево.

Ожидание казалось бесконечным, тем более что мы не решались выйти из укрытий и приблизиться к реке. Но вот фонтаном поднялась вода, словно кашалот дунул и выплюнул грязь, осколки и рыб.

Мы кинулись к реке. Бесспорные доказательства победы были налицо.

— Глади, гляди! — кричал Джимми. — Баррамунди... Да еще какая!

— Царь-рыба! Ничего не скажешь.

— Лещ!

— Ставрида! Большая — одна, вторая, третья.

— Гроупер! Гляди-ка, гляди-ка, Джимми! — Ликование наше было беспредельным.

Еще бы! Мы изобрели новый способ ловли рыбы, который сможем передать потомкам, как наши предки передали нам копьё и бумеранг.

К сожалению, все обернулось иначе.

Джок Бакли, рабочий миссии, слышал взрыв — да и кто мог его не слышать? — и прибежал узнать, в чем дело. Он появился в сопровождении чуть ли не всех аборигенов, живших в миссии, в тот самый момент, когда мы вытаскивали из воды дохлую рыбу. Нас застigli с поличным. Преступление было велико: все равно, что контрабандный ввоз оружия. Мы оказались виновными в преднамеренных разрушениях не меньше, чем хозяева крупных оружейных заводов, более цивилизованные, чем мы.

Бакли заставил всю нашу компанию из двадцати человек предстать перед судом миссии, в который входили и старейшины племени.

— Итак, что вы замыслили? — спросил он.

Однако Джок, человек практичный, прекрасно понимал, что произошло, и без наших ответов.

— Кто проник на склад и украл карбид? Кто сделал бомбу? Кто убил несчастную рыбу? — Он засыпал нас вопросами, не ожидая ответа. — А что если я полностью карбидом четырехгалонный баллон и поставлю сегодня в ваш лагерь? Поправится вам это, бесенята?

— О нет, сэр, нет! — Между нами не было никаких разногласий. Мы хорошо видели, как рванула наша бомба, и вовсе не желали, чтобы она взорвалась около нас.

— Значит, вы хотите жить? — тремел Джок.

— Да, сэр! — Мы и здесь проявили полное единодушие.

— Как же вы хотите жить? Как христианские мальчишки или как черные дьяволы?

— Так, чтобы есть сколько угодно рыбы, пожалуйста, мистер сэр, — промолвил Фредди.

— Без дерзости! Не дерзи! — грохотал Джок. — Вы и так отличились! — Он повернулся к старейшинам. — Что с ними делать?

Мы бы предпочли, чтобы Джок принял решение сам. Опыт показывал, что белые часто наказывали менее сурово, чем старейшины. Те не колебались ни минуты.

— Выпороть всех!

— Да, выпороть!

— Задать хорошую взбучку! Могли всех нас взорвать!

— Сними ремень и дай каждому как следует. По ногам и мягкой части! И бей не жалея!

Так и решили. Мы грустно выстроились в ряд, и Джок немедленно привел приговор в исполнение. Обжаловать его в высшую инстанцию мы не успели.

Первый мальчик, подвергшийся экзекуции, громко завизжал. Потом он отошел в самый конец очереди, где стоял я.

— Знаешь, ведь это больно, — сказал он.

— Жалит, — добавил следующий.

— Ноги огнем горят, — поддержал третий.

Через несколько секунд я смог лично убедиться в том, что они правы.

— Стыдись — хлопок — и — хлопок — больше — хлопок — так — хлопок — не — хлопок — делай — хлопок! — Джок и ремень говорили в один голос. Я получил шесть полновесных ударов.

Это был конец наших карбидных бомб. После всего случившегося мы пришли к выводу, что рыба, убитая копьём, гораздо вкуснее. Ну, а миссия в скором времени перешла на керосиновые лампы. Смертоносное вещество исчезло из пределов нашей досягаемости.

Если река надоедала, мы вытаскивали лодку на берег и отправлялись в лес на поиски попугаев, коршунов, лирохвостов, индеек, ястребов.

Я убивал копьём и ел всех этих птиц — хотя навсегда получил отвращение к мясу ястреба, а вот в ворону или какаду мне ни разу не удалось попасть. И не только мне — никому из нашего племени. Зато кустарниковые индейки и многие другие птицы, добывавшие корм на земле, не

отличались особым проворством и платили дань за свою неповоротливость.

Ночью пылали костры, гудели диджериду, звучали песни, сопровождаемые аккомпанементом палок. Мы танцевали лунггур и бунггал, веселые, развлекательные корробори, совершенно не похожие на громоздкие танцевально-вокальные представления — символический кунашши и праздник возрождения ябудурава.

Я страдал от насмешек друзей и от уколов собственного самолюбия из-за того, что никак не мог научиться играть на диджериду. Этот полый кусок дерева длиной шесть футов, шириной три дюйма считается традиционным музыкальным инструментом всех австралийских аборигенов. На самом деле это не так. Диджериду — исконная принадлежность племен к северу и западу от реки Ропер. Что же касается алава, мара, анула и гарава, то они поют и отбивают ритм палками. Для нас диджериду — инструмент чужеземный. Тем не менее с тех пор как он попал сюда, мы широко пользуемся им во время танцев.

Некоторые мои друзья, более способные, чем я, научились играть на диджериду за пятнадцать минут. Я же только шхтел, стонал, рычал, дул и хрипел. Я извлекал из инструмента негармоничные звуки, смешившие до слез моих друзей, но, как ни старался, не мог выжать из него даже самой простой мелодии.

Чтобы играть на диджериду, надо уметь управлять своим дыханием. Правда, если приложить губы к мундштуку, а языком регулировать поток воздуха, чтобы извлечь отдельные звуки, можно произвести некоторый шум, но ведь вся прелесть диджериду в его певучей мелодичности, напоминающей орган. Ее же можно достигнуть, только вдыхая и выдыхая одновременно.

Попробуйте-ка разок, только смотрите не задохнитесь!

Я практиковался от рассвета до темноты: тайком уходил в лес, чтобы скрыться от насмешек и осуждения друзей. Они выслеживали меня и смеялись еще больше.

Специалисты подробно объясняли мне, что надо делать. Я точно следовал их указаниям. И каждый раз чуть не умирал от удушья.

Так я и не выучился играть на диджериду и всю жизнь чувствовал себя из-за этого униженным. Да и сейчас играю не лучше, чем в детстве, когда впервые взял дидже-

риду в руки. Аборигену стыдно признаваться в этом. Тем не менее это так.

Я рад, что диджериду, по сути дела, не инструмент алава, иначе меня ждали бы не насмешки, а бесчестие. Кроме того, многие мои способности компенсировали этот недостаток. Я лучше всех бросал копьё. Я бегал, как собака динго. Я хорошо ездил верхом. И еще мальчиком начал учиться тому, что умеют делать белые люди.

Вооруженный таким образом, я и сам мог насмехаться над насмешниками.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Увы, даже беззаботная жизнь маленького кочевника не ограждена в наши дни от настойчивых требований цивилизации, тяжким бременем лежащих на нас.

Вскоре после инициации я в один прекрасный день узнал, что мне придется посещать школу.

Каждый, кто помнит, какой пыткой оказался для него первый день учебы, поймет, насколько труднее он должен быть для маленького аборигена, если его родители лишены какого бы то ни было образования, а сам он ужасно робеет перед незнакомыми людьми и хочет знать только ту истину, которая начертана следами в книге леса.

Большинство белых детей получают какую-то подготовку в детских садах или у своих родителей. Они по крайней мере умеют еще до школы складывать по слогам простейшие слова и считать до десяти.

Но мы были кочевниками. Мой отец и дед, моя мать и бабушка не знали грамоты. Они не умели ни читать, ни писать, ни считать и, уж конечно, никак не могли помочь мне готовить уроки.

Но это еще полбеда. Меня учили английскому языку. Для белого ребенка, родители которого разговаривают по-английски, это довольно естественно, но родным языком моей матери был валибуру — диалект алава. Я должен был учить английский как иностранный, продолжая в лагере разговаривать на валибуру.

Этим, однако, не ограничивались языковые трудности. Как большинство аборигенных языков, валибуру имеет для обозначения чисел только слова «один» и «два»: «вунгани» и «вуруджа». Мы могли считать до трех и четырех, сочетая эти два слова: вунгани-вуруджа и вуруджа-вуруд-

жа. Дальше уже мы были беспомощны и остальные цифры показывали на пальцах.

В жаргоне — пиджин инглиш, ломаном английском, широко распространенном в общении между племенами и с белыми людьми, есть выражение «little mob»²⁰, что означает любое количество до десяти. Числа между десятью и двадцатью обозначаются выражением «little-bit-big-feller-mob»²¹, больше двадцати — «big mob»²², порядка ста — «properly-big-feller-mob»²³. Но цифр тринадцать, тридцать три, пятьдесят пять, пятнадцать и так далее для пиджин не существуют.

Наши учителя, которые на первых порах пытались делить «big feller mob» на «little feller mob» и вычитать «little-bit-big-feller» из «properly-big-feller», столкнулись с уникальной задачей в арифметике.

Родители не могли нам помочь и в занятиях по языку. Они не знали грамматики, не умели читать по слогам или разбирать предложение. Чаще всего они не понимали ни слова из того, что мы старались произнести.

Обычно белый ребенок еще до школы узнает время по часам. У нас часов не было. Для меня день делился так: восход солнца, обед, заход.

Времена года мы называли «периодом дождей», «периодом холода», «периодом жары», с некоторыми вариациями для уточнения: «период зеленой травы», «период высокой травы», «период опаленной травы», «период черепаших яиц». Я никогда не слышал о январе или июне, марте или декабре, но теперь понимаю, что мы узнавали эти месяцы по цветению эвкалипта, орешника и джиринины. Никто не говорил нам, когда на деревьях появится дикий мед. Нам это подсказывала интуиция. Интересно, много ли есть белых мальчиков, которые знают о существовании такого лакомства?

Вскоре после моей инициации белый миссионер Стэнли Порт сказал отцу, что пора послать меня в школу. Отец ответил:

— Меня это не касается. Это дело его опекуна Марбунгу. Он его воспитывает.

²⁰ Маленькая толпа (англ.).

²¹ Маленькая большая толпа (англ.).

²² Большая толпа (англ.).

²³ Совсем большая толпа (англ.).

Барнабас, конечно, был прав. Братья моей матери называли меня «нибарли», что означает «сын». Братьев отца я называл «нгарбинини» — буквально «помощник отца». Но опекуном моим был Марбунггу — дядя по матери, и Стэили Порт должен был получить от него разрешение на то, чтобы я мог пойти в школу.

Марбунггу приказал, и я повиновался. Надеюсь, что дети моей сестры также будут слушаться меня²⁴.

Почти весь первый день я от страха проспал. Учительница мисс Дав пробовала будить меня, но все было напрасно: глаза мои слипались. Раз или два я зевнул и попытался сосредоточиться, но через несколько секунд заснул снова. В конце концов она оставила меня в покое.

На следующий день я уже внимательно слушал учительницу. Научился произносить *cat*²⁵ и, преодолев числовой барьер, считать до пяти, до десяти и даже до двадцати. Вечером, сидя с матерью около костра, я гордо просчитал до двадцати, но мог бы и не стараться.

— Что это за слова? — спросила она.

— Это я считаю.

— Хм, что-то не похоже.

После этого она никогда не проявляла ни малейшего интереса к моей учебе. Ей она была непонятна.

Мы вели себя, наверное, так, как и должны вести себя шестьдесят мальчиков и девочек, собранных в одном классе: были то ангельски послушны, то безудержно шаловливы. Может быть, дети аборигенов даже более находчивы в изобретении мучительств для своих учителей. Мисс Дав трудно было скрыть раздражение и страх, когда она видела подползающего к ее стулу молодого питона или гуану. Мы часто приносили этих пресмыкающихся в школу, усыпляя бдительность старших.

Я неизменно получал удовольствие от того, что мисс Дав бледнела, а глаза ее округлялись от ужаса при виде

²⁴ Санкционированные обычаем взаимоотношения между дядей по матери и его племянниками, иногда более близкие, чем между отцом и его детьми, в науке называются авункулатом (от латинского *avunculus* — «дядя по матери»). При этом дядя является воспитателем, опекуном, покровителем, защитником детей своей сестры; наследование имущества идет от дяди к племяннику. В важных семейных и общественных делах слово дяди по матери нередко имеет большее значение, чем мнение отца.

²⁵ Кошка (англ.).

ползающей по полу змеи. Ей все пресмыкающиеся казались ядовитыми змеями, что, впрочем, вполне понятно: на реке Ропер было сколько угодно тайпапов, черных ехидн и шипохвостов. Кто-кто, а уж я-то знал это очень хорошо, недаром я охотился на змей и даже ел их.

Мисс Дав грозилась нам суровыми карами, но стоило нам в тысячный раз объяснить, что мы принесли змею или гуану на урок естествознания, и она моментально смягчалась. Разве она сама не просила нас приносить образцы растений и животных, которые мы могли бы рассматривать и изучать?

Но вот запугать ее преемницу мисс Кросс оказалось куда труднее. Первого же питона, принесенного в класс, она схватила за хвост и выкинула за окно.

— Следующего я убью, — сообщила учительница мрачно.

Мы поверили ей на слово, а так как никто не хотел терять своих любимцев, оставили мисс Кросс в покое. Но однажды мальчик по имени Джорум принес в спичечной коробке трех злых ос. Они частично вознаградили нас за утраченное по вине мисс Кросс достоинство, но и мы немало за них пострадали.

Все мы не раз видели, как оса быстрым уколом жала убивает более крупных насекомых. Те, кто пострадал от ее укуса, старались никогда не поворачиваться к ней спиной. Среди прочих неприятных обитателей леса осу выделяло прозвище «нахалуга».

Окна класса были затянуты проволочными сетками, так что осы не могли вылететь. Занятия прекратились, пока мисс Кросс бегала за ними, стараясь выгнать в дверь. Наконец несколько мальчиков свернули из бумаги хлопчатку и убили ос. Тут началось следствие.

— Кто это сделал? — спросила мисс Кросс.

Никто не ответил и даже не поднял головы.

— Я спрашиваю, кто это сделал, и жду ответа! — повторила учительница.

Молчание. Джорум не собирался признаваться, а мы — его выдавать, хотя через несколько минут дорого заплатили за свою верность.

— Прекрасно! Тома сюда! — приказала учительница.

Том был вовсе не мальчик, которого она считала виновным, а тяжелый кожаный ремень. Подобно змее, он лежал свернутый в углу комнаты.

В тот день он погладил нас всех по рукам, по ногам и по ягодицам, защищенным лишь тонкой тканью лап-лана. После уроков Джорум уверял всех, что очень сожалеет о причиненном нам беспокойстве. Он опоздал на час со своими извинениями: они никак не смягчали боль от обжигающего укуса тяжелого ремня.

— Можете взять мою лодку, — говорил Джорум. — И мои стрелы. И у меня есть дикий мед, который я вам отдам.

— Спасибо, Джорум, — отвечали мы. — Только завтра оставь ос дома. Ремень жалит куда сильнее.

Но приходили ли мы с осами, змеями, гуанами или без них, Том все равно был тут как тут, едва появлялась мисс Кросс. Иногда мы называли ее мисс Вери Кросс²⁶. Она требовала Тома всякий раз, когда я не мог сложить два числа или искал ответ в книге соседа. «Это обман», — говорила она, хотя я никак не мог понять, почему; в нашем племени знаниями делились так же, как едой.

Она терпеть не могла нашу болтовню, а для детей аборигенов, которые говорят почти непрерывно, молчать на уроках было пыткой. Застигнув болтуна на месте преступления, учительница надевала ему на кончик языка зажимы для белья или скрепку для бумаги.

— Теперь болтай, сколько твоей душе угодно, — приговаривала она в таких случаях.

Другим страшным прегрешением считалось непослушание, но вот здесь нам на помощь приходила племенная выучка. Каждый мальчик, который, как и я, прошел очистительные церемонии инициации и два года, выполняя табу, не общался с определенными людьми, без труда повиновался несложным правилам поведения.

Впрочем, иногда мы против них бунтовали.

Самым большим удовольствием для нас было скакать верхом на лошадях. Мне, сыну объездчика, который мог пойти по стопам отца, следовало быть хорошим наездником, хотя, как потом оказалось, приходилось чаще пользоваться средством передвижения на четырех колесах, чем на четырех ногах.

Но в десятилетнем возрасте я еще не мог этого предвидеть и при первой же возможности вскакивал на спину неседланной лошади. Всадник был совсем голым, а лошадь без сбруи.

²⁶ Игра слов: *very cross* — «очень злой» (англ.).

Вскоре я научился управлять конем с помощью колеи, а если, не имея узды, не мог его остановить, то тоже не беда! Времени у меня было достаточно, лошадь могла скакать сколько угодно и остановиться, когда захочет. Если продолжительный галоп утомлял меня, я на обратном пути ложился ей на спину и добирался в таком положении до дому.

Что могло быть лучше для маленького аборигена, чем иметь в своем распоряжении десятки таких лошадей, принадлежавших миссии, приручать, скакать на них, летать птицей... Да и пегасы были счастливы. Они узнавали нас и радовались поездкам, скакать по лесу им нравилось больше, чем стеречь скот, — так по крайней мере нам казалось.

Пастухи садились на оседланных лошадей и занимались своими скучными делами: в пыльных загонах отбирали и клеймили волов, коров, телят... Мы же выводили коней в Края кенгуру и эму, на просторы, где они могли летать как на крыльях. Ничто не сдерживало там лошадь — сидевший на ней мальчик не был обузой. Низко пригнувшись к ее спине, он держал наготове свое маленькое копье, чтобы успеть поразить им кенгуру, поленившегося бежать быстрее лошади, или жирных змей, нежившихся на берегах рек под лучами солнца. А еще лучше, если рядом, плечом к плечу, спутавшись гривами, мчались размашистым аллюром три или четыре лошади.

Однажды в воскресенье Стэнли Порт разрешил нам проехаться.

— Но не дальше первой горы, — добавил он. — И дались вам эти лошади! — Он удивленно покачал головой.

Гора? Где эта гора? И что такое гора? Барьер! Ограничение для необъезженной лошади и всадника, которого она считает своим товарищем. Это невозможно. Простите, сэр, но мы не в состоянии остановить лошадей, у нас ведь нет вожжей. Слава богу! Лошадь сама остановится, когда устанет, когда один из нас убьет кенгуру или гуану или свалится на землю.

Мы поскакали. Мчались долго, очень долго. Черные волосы и черные гривы развевались по ветру. Стремительные потоки воздуха обжигали смуглые тела. Опустив головы, сильно подавшись вперед, мы старались ускорить бег лошади. Вперед, парень, вперед, не давай соседу обойти тебя, лети, распластавшись по воздуху...

Гора? О да, гора мистера Порта. Мы как раз скачем мимо. Эй, лошадка, вот гора мистера Порта, чего же ты, проказница, не останавливаешься? И две твои подружки тоже словно не замечают эту гору.

Давай мчись дальше, к прибрежным равнинам — там трава зеленее, а лес гуще и ездить еще интереснее, ведь надо объезжать деревья. Мчись в Край благоденствия ящериц, где живут большие гуаны и змеи. Мы убьем нескольких змей и повезем их домой, перекинув через твою гриву.

Вперед, лошадка, неси меня на широкой спине куда хочешь! Я не сопротивляюсь, хотя подавлен и напуган, особенно тем, что нам не избежать гнева Стэнли Порта. Ведь он, конечно, узнает, что мы ослушались его и заехали за гору.

Каждый из нас троих добыл по две гуаны. Мы убивали их копьем, свесившись с лошади. Это большая удача! В лагере нас сегодня будут чествовать. Девочки застенчиво улыбнутся нам. Отец сможет мною гордиться.

В это время из засады выскочил кенгуру. Мы дружно бросились за ним, все больше удаляясь от миссии. Но от неоседланной лошади всего можно ожидать. Моя вдруг повернулась и налетела сбоку на лошадь Роджера Гунбукбука. Я и второй мальчишка кубарем скатились вниз, а Роджера бросило на ближнее дерево и с него — рикошетом на другое.

Мне это показалось очень смешным: еще бы, я-то ведь не ушибся. Падали мы часто и умели немного пружинить телом, чтобы смягчить силу удара. Однако совсем другое дело удариться с лету о дерево. Здесь уже нет ничего смешного! Роджер почувствовал это на собственной шкуре.

— А-а-а-а-а! О-о-о-о-о! — застонал он.

Я подполз к Роджеру. Его лицо было искажено болью, пальцы подергивались, глаза удивленно смотрели на меня сквозь плену слез, катившихся против его воли. А всего лишь за минуту до этого он свистел и смеялся.

— Я не могу даже пошевелиться, — сказал он.

— Пойду за подмогой, приведу своего отца и твоего тоже.

— Только не рассказывай ни о чем мистеру Порту.

Но Стэнли Порт так или иначе все узнает. Он не может не узнать — ведь, кроме него, никто не вызовет Летящего Доктора.

Я поскакал домой и рассказал обо всем моему отцу. Он нахмурился — значит, потом мне влетит — и побежал к реке, созывая по дороге других мужчин.

— Гунбукбук ранен, — кричал отец. — Он лежит на берегу реки в Краю благоденствия ящериц. Лошадь его упала. Быстрее за ним!

Они взяли в миссии ялик и поплыли вниз по течению. Я сел с ними — показать, где Роджер. Все мрачно молчали, мне никто и слова не сказал. Лучше уж они бы меня ругали или вышучивали. Впоследствии я понял, что возможность смерти будущего члена племени и прекращение его жизни — дело нешуточное. Это самое серьезное несчастье, какое только может постигнуть племя.

Роджер лежал в высокой траве, там же, где упал. Он не двигался и жалобно всхлипывал, несмотря на то что, стараясь удержаться, кусал себе весь язык. Раз уж он плакал перед мужчинами, значит, страдания его действительно были невыносимы. Иначе он сумел бы сдержать себя в присутствии взрослых.

— Не трогайте меня, — стонал он, прижимая руки к бедрам.

Мужчины соорудили из кустов чайного дерева и лиан носилки и подложили их под тело Роджера. Как ни осторожно они действовали, процедура была очень болезненной. Мальчика отнесли в лодку и доставили в лагерь. Ко мне по-прежнему никто не обращался.

Мистер Порт встретил нас на пристани. Его холодные серые глаза праведника смотрели на меня с возмущением.

— Теперь, Филипп, ты знаешь что значит ослушаться взрослых, — произнес он. — Господь бог наказывает тебя. Господь бог справедлив.

Мне хотелось убежать, но я не мог оставить Роджера и был с ним, пока его не забрали в больницу миссии. Через несколько минут я услышал в радиорубке потрескивание оживавшей рации. Мистер Порт вызывал радиста, находившегося в Клонкарри, в семистах милях от нас:

— База Клонкарри! База Клонкарри! База Клонкарри! Говорит миссия на реке Ропер! У меня пациент. Мальчик-абориген, предполагаю перелом двух ребер. Можете прислать Летающего Доктора? У меня все.. У меня все..

Несмотря на боль, Роджер Гунбукбук пытался улыбаться. Еще бы! Теперь он полетит на санитарном самолете в большой город, а вернувшись, на протяжении многих не-

дель будет рассказывать у костра о том, что видел. Мне было жаль Роджера. Из-за боли он не мог как следует насладиться этой радужной перспективой.

А меня не ждало ничего хорошего. Мистер Порт, наверное, не скоро забудет о нашем ослушании, а так как я был старший из троих, будет попрекать меня. Так оно и случилось: длинная спокойная отповедь глубоко ранила меня и на много дней испортила настроение. Но раны, полученные дома, были еще чувствительнее: их панесли палкой.

Вечером я отправился в загон и осмотрел лошадей. Ни одна не пострадала. Поймал мерина, на котором скакал, и, когда он стал меня облизывать, с благодарностью обнял его за шею.

— Ах ты, шалун! — сказал я. — И чего ты не смотришь на гору мистера Порта? Или тебе нравится быть непослушным? Тебе бы только бежать, бежать, бежать... Слишком уж ты любишь скакать галопом. А вот теперь Роджера повезут на летающей машине ремонтировать ребра.

Но вообще-то мои школьные дни протекали довольно спокойно. Труднее всего было высиживать долгие часы в классе, приобретая знания вместо практических навыков, которые можно было получить по ту сторону школьных стен.

Каждый день, затворяя за собой дверь в комнату, где меня запирали с мисс Дав или мисс Кросс и другими учениками, я чувствовал себя так, как если бы мне на ноги надели тяжелые кандалы. (Я видел их однажды, когда приходил полицейский из Ронер Бар.)

— Филипп, два плюс пять?

— А?

— Трижды семь, Филипп?

— Филипп, как ты напишешь слово «сонный»? Филипп, что значит «непослушный»? Ты мыл сегодня руки, Филипп?

Что я мог ответить? Что на отмелях около пристани плещутся баррамунди? Что в этом году особенно вкусные гуаны попадают в Краю благоденствия ящериц? Что лодки для того и существуют, чтобы в них плавали, а лошади — чтобы на них скакали, что девочки хуже нас, что копьями убивают рыб и животных, читать же надо следы, а не книги?

Обо всем этом я думал, пока учителя старались числами, словами и другими пустяками белых людей пробиться в мое сознание.

Зачем надо было писать food²⁷, когда мы употребляли слово tucker²⁷?

Зачем надо было знать, что восемь плюс девять семнадцать, когда у меня нет столько пальцев?

Зачем было говорить «Доброе утро, мисс Дав!», если в тот день я приходил в школу под потоками тропического ливня, сопровождавшегося всеми трюками широтехники природы?

Нет! Лучше уж было жить невеждой, чем забивать себе голову этими странными несуразицами! И я бы, наверное, по сей день остался чурбан чурбаном, не появившись у нас в школе новая учительница — цветная девушка Маргарет Блитнер.

В ее жилах текла кровь аборигена. Она могла думать, как и мы. Не только она понимала меня, но и я мог ее понимать. Она непринужденно и даже сочувственно говорила о моем нежелании учиться. Это, конечно, вовсе не значит, что мисс Дав и мисс Кросс были плохими учительницами. Если я у них ничему не научился и во мне не пробудился интерес к знаниям, то виной тому только я.

Тем не менее с Маргарет я уже через несколько дней чувствовал себя на удивление легко и быстро научился читать и писать. В четвертом классе меня наградили перочинным ножом за хорошее поведение и успехи в занятиях — прежде я ни тем ни другим не отличался.

Через год я кончил пятый класс — мне тогда было немногим больше тринадцати лет. На этом мое официальное образование закончилось. В миссионерской школе пятый класс был выпускным. Мне дали самые элементарные познания и отправили плавать в океан жизни.

Только теперь началась подготовка к жестокой схватке с действительностью. Едва я вышел из классной комнаты, как ко мне подступились учителя племени. Очень скоро я убедился, что вопросы, рассматриваемые в учебниках, ничто против уравнения, которое начертано на наших досках: выжить = умение подкрадываться неслышно + хитрость + опыт.

²⁷ Food — «еда, пища» (англ.). Tucker — «сладости и еда» (англ.). Австралийские аборигены обозначают вторым словом любую еду.

Теперь должны были развиться заложенные во мне способности охотника и добытчика — такова была традиционная роль мужчины у аборигенов. Мисс Дав, мисс Кросс и Маргарет Блитнер учили меня по иностранным книгам. Отныне меня учило племя по книге леса, раскрытой передо мной.

Я должен был научиться ее читать. Если я останусь на реке Рошер, мне до конца дней моих придется содержать себя и свою семью. В стране алава нет работы и денег, торговли и магазинов, мясников и булочников, значит, мой желудок будет полон или пуст в зависимости только от того, насколько хорошо я изучу курс наук в школе второй ступени, насколько усвою основные правила поведения первобытного человека.

Я очень старался не ударить в грязь лицом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В школе меня учили две белые женщины и девушка-полукровка. В лесу моим наставником стал Сэм Улаганг, смелый охотник из племени нганди, на десять лет старше меня. Он учил меня законам и обычаям племени, ибо его сестра, Нора Биндул, предназначалась мне в жены.

Если бы алава и нганди, ритарригу и нангубуйу были профессорами искусства жизни в университете леса, студенты-аборигены неизменно шли бы впереди остальных. Науки давались нам с трудом. Но в практических областях, от которых зависело наше существование, мы преуспевали.

И все же обучение охоте заняло половину моей жизни и продолжается до сих пор.

Первое мое воспоминание — о записке, которую отец написал мне, малышу, едва-едва научившемуся ходить. Вы возразите, что мой отец был безграмотным — я сам говорил об этом. Да, но это была совсем особая записка.

Я сидел на бревне у костра, а отец, скрестив ноги, рядом на земле.

— Сейчас я тебе кое-что напишу, — сказал он. — Смотри хорошенько и постарайся запомнить навсегда. Знай, что лес и земля рассказывают длинную историю, надо только уметь ее прочитать.

Он пригладил песок ладонью.

— Чей это след?

Отец сжал кулак, повернул его большим пальцем кверху, а мизинец вдавил в песок. Вокруг верхней части отпечатка, оставленного средним суставом, он четыре раза легко коснулся пальцем песка.

— Собаки, — ответил я.

Мне часто приходилось видеть собачьи следы около лагеря, и я узнавал их безошибочно.

Отец изобразил кончиком пальца следы кошки, а затем кенгуру: отпечаток лапы он выдавливал подушечкой ладони, а пальцев — ребром руки и мизинцем. Он показал мне следы черепахи, гуаны, эму, крокодила, дикобраза, разных птиц, домашнего скота, лошадей и велел их повторить. Рука у меня была маленькая; такого рода следы могли оставить только телята и жеребята, а не коровы и лошади. Но какое это могло иметь значение? После этого упражнения я на всю жизнь запомнил, как выглядят отпечатки ног различных животных.

Так я научился замечать и опознавать следы, не прилагая к тому специальных усилий. Сейчас я читаю землю, как другие газету или книгу. Следы жены, шести дочерей, братьев и других родственников я знаю не хуже, чем их лица. Со следами моей жены я познакомился раньше, чем с ней самой. В селении, где я сейчас живу, мне удастся различать следы не меньше пятидесяти человек.

Как у большинства аборигенов, зрение и слух у меня обостренные. Увядшая трава не может скрыть от меня кенгуру, хотя он совершенно сливается с ней. Я вижу птицу, спрятавшуюся в листьях, даже если она сидит неподвижно. Я легко отличаю шум леса от шороха пробирающегося по нему животного.

Это куда проще, чем умножить семь на восемь, к тому же у нас есть свои формулы, точные, как правила арифметики и закон Архимеда, и позволяющие решить самые сложные задачи.

На твердой почве, где следы не видны, движение животного можно проследить по примятой траве и сдвинутым камням.

Головки травы всегда направлены в ту сторону, куда убежало животное. Камушек бывает отброшен назад по линии бега. Следы, оставленные змеей, как будто не имеют ни начала ни конца, а между тем их нетрудно разыскать:

на каждом повороте песок сыпается в сторону хвоста пресмыкающегося.

Опоссумы и белки, взбираясь на камедное дерево, царапают его кору. Лезть за ними трудно, но зато мясо их прямо тает во рту, а из меха аборигенки делают себе пояса и другую одежду.

В школьные годы старшие мальчики учили меня действовать копьем и бумерангом. Я упражнялся с игрушечным оружием, пока не научился точно попадать в цель. Но когда я вырос настолько, что мог уже освоить традиционные средства убийства — копье, которое мечут с помощью вумеры, и тяжелые бумеранги, за мое воспитание взялся профессиональный охотник.

Это был Сэм Улаганг из племени нганди. Ему я обязан тем, что могу жить дарами природы, добывая их оружием, которое сделал сам. Он был великий учитель, гордый абориген и самый хитрый следопыт из всех, кого я встречал.

Я-то думал, что проведу с Сэмом несколько дней, ну, несколько недель и принесу домой собственноручно убитого кенгуру. Оказалось, однако, что мне пришлось умерить свой пыл на несколько месяцев. Но и после этого я получил разрешение всего-навсего идти по пятам Сэма, выслеживающего животное.

Сначала мне была поручена малопочетная задача носить копья. Сначала Улаганг, друг моего отца и брат моей будущей жены, мог бы быть и полюбезнее...

— Ты понесешь копья, — говорил он в первый месяц.

— Ты понесешь копья, — говорил он во второй месяц.

На третий месяц он говорил:

— Вайпулдакья, ты понесешь копья!

Я был так нагружен, что, когда видел кенгуру, не мог помочь ни выследить, ни убить его. Я представлял собой движущийся арсенал, совершенно не пригодный ни к каким другим действиям. Теперь я понял, почему аборигенки, нагруженные оружием и утварью, всегда отстают от своих мужей, идущих налегке.

На четвертый месяц Улаганг говорил:

— Ты понесешь копья. Ты будешь ждать и внимательно наблюдать за мной, когда я пойду за кенгуру.

Ага! Теперь мне разрешалось ждать и наблюдать! Уже лучше. Но что же, по его мнению, я делал все предыдущие месяцы?

Завидев валлаби, Улаганг движением показывал, чтобы

я, как всегда, остался позади и следил за каждым его шагом.

Я хотел познать науку охоты и не спускал с него глаз. Видел, что он старается побороть порывистость и торопливость. Он внимательно следил за ветром, идя навстречу ему, чтобы запах человека не достиг животного, передвигался одновременно с его порывами и останавливался, когда те замирали.

Я мысленно прокладывал дорогу, которую выбрал бы сам, будь я охотником, и огорчился, если Улаганг шел иным путем. Тогда я начинал искать причину, почему Улаганг так поступил, и видел высокую траву, которую он решил обойти как излишнее препятствие: вспугни он представших в ней валлаби, те бы подняли и выслеживаемую добычу. Я начинал понимать, почему Улаганг так терпелив.

«Вайпулданья,— говорил я себе,— скоро ты сможешь охотиться».

Улаганг пропал из виду за густыми кустами и деревьями, а я еще с полчаса следил за кенгуру. И вот наконец пущенное под определенным углом копьё рассекало тело животного надвое, так что хоть сейчас клади в земляную печь.

Улаганг медленно возвращался и с равнодушным выражением отдавал мне убитое животное, словно ему было до зевоты скучно выслеживать кенгуру.

— В следующий раз,— обещал он,— ты пойдешь по моим следам.

Я был восхищен снисходительностью великого черного охотника. Но этот покровительственный тон! Это сомнение! Он, видите ли, считал, что сын Барнабаса достоин идти по его следам! Между тем я был алава, а он всего-навсего иганди.

«Хорошо еще,— думал я,— что испытания на площадке для корробори научили меня сдержанности. А то бы уж я всадил в тебя копьё под нужным углом».

Знай я, что мое обучение только начиналось, что мне еще много месяцев предстояло ждать и смотреть, как Сэм из-под самого моего носа выманит жирную гуану, я бы, возможно, сбежал из школы Улаганга.

Но в глубине души я понимал, что это самая лучшая подготовка, какую только можно получить. Как только она закончится, у меня будет такая же охотничья сноровка,

что я у Сэма. Он только не научил меня точно бросать копьё, так как этим искусством я овладел с раннего детства, с того самого дня, как мои руки смогли удерживать игрушечное копьё.

На следующее утро Улаганг сказал мне:

— Хорошо. Сегодня мы пойдём. Пойдём на Место худых и сильных, где трава высокая, а деревья редкие. Ты можешь идти по моим следам.

Спасибо тебе, Сэм, самодовольный педант. Спасибо, Ваше Величество нганди! Итак, Вы разрешили мне следовать за Вами! Может, это не такой уж умный шаг со стороны человека, набитого самодовольством, как перина гагачьим пухом. Может, мы впустим чуточку воздуха Вам между лопаток, чтобы поубавить Вашу спесь!

Что за вздор! На самом деле, конечно, самомнением страдал я, это мне надо было поубавить спесь. Я попадал копьём в неподвижных гуан и думал поэтому, что умею охотиться! Я убил копьём полусонную рыбу и раззвонил об этом на весь лагерь. Но удалось ли мне хоть раз выследить и прикончить животное, которое было бы крупнее меня и обладало другими преимуществами — тысячелетиями вырабатывавшимися инстинктами и хитростью?

«Ты что-то сказал, Вайпузданья?» — «Нет, сэр! Ничего подобного, сэр!»

Тогда все в порядке. Следуй за Сэмом Улагангом и постарайся учиться у него. Сэм действует, так сказать, с помощью наглядного примера. Лучше ничего не может быть, даже если он нганди.

— Хорошо, — сказал Улаганг. — Теперь пойдём. Ты понесёшь мои копья до Места, где валяется буйвол. Там мы вымажемся коричневой грязью, чтобы перебить свой запах и слиться с сухой травой.

— А в период зелёной травы? — спросил я.

— Ты хорошо учишься, — сказал Сэм, — нганди доволен. В период зелёной травы ты обмазываешься серо-зеленым илом с берега реки, перемешанным со мхом и листьями.

Мы вымазались коричневой грязью, отвратительной липкой зловонной смесью. Мне это казалось совершенно излишним. Я вспомнил, что, когда я только таскал копья за Улагангом, он не прибегал к помощи глины.

— Почему мы сегодня вымазались, Сэм? — спросил я.

— Потому что ты идёшь по моим следам, — ответил

он. — Ты будешь неосторожен, и валлаби сразу тебя заметят, если не замаскируешься.

Снова самонадеянность великого оракула!

— Всегда, когда ты очень голоден, обмазывайся грязью, — сказал он. — Плохо, если ты станешь выслеживать валлаби, голод твой от этого будет все увеличиваться, а в последний момент ты увидишь хвост убегающего животного, которое тебя заметило. Несчастье все в том, что алава теперь слишком сытно едят. Полный желудок делает охотника неосмотрительным.

Мы шли, шли, шли... До-о-о-лго шли. Но вот наконец Место худых и сильных. Иди вверх на холм, двигаясь по ветру, и смотри вниз!

Ага, вон! И вон! И вон! Три парня валлаби. Простите, мисс Дав, я хотел сказать, три валлаби. Вчера еще я только стоял бы на этом самом месте и смотрел. А сегодня при виде валлаби у меня пульс забился сильнее. Ибо сейчас я пойду по следам преследователя, буду выслеживать следопыта, шагать за великим мастером охоты.

Улаганг не обращал на меня внимания и следил за валлаби. Они паслись, повернувшись против ветра, спинами к нам. Углы рта Улаганга тронула тень улыбки: ветер был благоприятный. Но вот три валлаби сразу — это не очень хорошо. Три валлаби против одного охотника... Или против двух? Какое же тут соотношение — три к двум или из-за меня шесть к одному в пользу валлаби? У них было три носа, чтобы принюхиваться к воздуху, шесть глаз, шесть ушей и ноги, двигавшиеся со скоростью света.

Сэм подал мне знак ртом, и я последовал за ним за выступ холма.

— Ты идешь по моим следам, — прошептал он. — Моя правая нога, твоя правая нога, на то же место. Я ползу, ты ползешь. Я крадусь, ты крадешься. Я останавливаюсь, ты останавливаешься. Не разговаривай. Не кашляй. Не шурши травой. Стой в тени, все время в тени. Сначала правый валлаби. Он всех ближе к нам. Я раню его в ногу, а ты пойдешь по кровавому следу и добьешь его.

Браво, бис! Медаль тебе, Сэм. Снова хвастаешь! Раздутое самомнение этого человека злило меня.

Мне казалось, что вряд ли нам удастся даже приблизиться к трем валлаби, но Сэм, твердо уверенный в том, что сумеет незаметно к ним подкрасться и поразить того, которого выбрал, и в то самое место, которое считает пуж-

ным, даже обещал мне, что я пойду по кровавому следу и добыю животное.

Хорошо, Сэм. Пойдем. Посмотрим, на что ты способен. Посмотрим на Великого Охотника за делом.

И вот мы крадемся... минуту, вторую, третью... Сэм склонился под прямым углом. Ноги он почти не сгибает, верхней часть туловища держит параллельно земле. Я слежу за его ногами, только за ногами. Я делаю, как он велел, шагаю след в след, и у меня не остается времени глядеть по сторонам.

Пока дул ветер и мы находились ярдах в ста от валлаби, Сэм двигался быстро, ловко и уверенно. Но чем ближе мы подходили, тем медленнее и осторожнее он шел. На расстоянии примерно пятидесяти ярдов Сэм замер буквально на полушаге — с поднятой вверх ногой — так останавливаются охотничьи собаки. Этой же похожей теперь на восклицательный знак ногой он указал на сухую ветку, на которую едва не наступил, как бы признавая быть внимательнее.

Сэм обошел эту ветку и много других таких же. Я по-прежнему наступал точно на его следы. Иди кто-нибудь сзади, ему бы казалось, что впереди один человек.

Теперь мы шли, согнув колени, очень медленно, все время в тени и только изредка бросали взгляд на валлаби. Когда на дерево над нашими головами уселись две птицы, мы остановились, сдерживая дыхание. Только когда они взлетели, Сэм пошел дальше. Он не хотел, чтобы птицы подняли шум, который послужил бы сигналом тревоги.

Последние двадцать ярдов по почти открытой местности мы преодолевали четверть часа. Иногда мне казалось, что дальше Сэм вообще не пойдет. Когда он наконец сделал шаг вперед, я заметил, что животные отвернулись в противоположную от нас сторону.

Сэм шел к большому дереву, находившемуся всего в тридцати футах от валлаби. Перед деревом ярдов на двенадцать тянулась полоса высокой травы. Мы пересекли ее ползком, придерживая руками за собой кошья, так, чтобы трава своим движением не выдала нас.

Рука вперед, нога вперед, опускайся, жди...

Рука вперед, нога вперед, опускайся, жди...

Но вот Сэм уже у дерева, толстый ствол которого служил надежным укрытием. Тем не менее Сэм продолжал двигаться медленно и осторожно. Он встал на колени, за-

тем поднялся на одну ногу, потом на другую и наконец выпрямился во весь рост, плотно прижавшись к дереву. Он наступил на копьё, вставил его древко между двумя пальцами и поднимал ногу до тех пор, пока не смог взять его в руки, не нагибаясь. Точно так же он поступил с вумерой. Прошло полчаса, а то и больше с тех пор, как мы покинули холм. За это время ни один из нас не проронил ни звука. Я был горд, что прошёл за Сэмом, ни разу не хрустнув веткой и не зашуршав травой.

Теперь Сэм приставил заостренный конец вумеры к основанию десятифутового копьё со стальным наконечником. С бесконечными предосторожностями он выглянул одним глазом из-за дерева, не нагибая голову с завязанными волосами. Копьё было уже наготове, но Сэм его еще не поднял. Я, пригнувшись к земле, старался запомнить все, что делал этот замечательный охотник, — теперь я уже не сомневался в его способностях. За всю жизнь в лесу мне ни разу не удавалось подойти к валлаби ближе чем на тридцать футов.

Сэм отвел руку назад. Теперь ему надо было поднять копьё перед собой, и валлаби могли заметить это движение. Поэтому он сделал его быстро и в тот же миг метнул копьё. Вумера засвистела. Копьё полетело. У-и-и-и-ш! Раздался глухой звук, который производит твердый предмет, попадая во что-то мягкое, и тут же послышались быстрые убегающие шаги двух валлаби и более медленные — третьего. Даже не глядя, я знал, что животное ранено.

— Попал! Попал! — закричал я.

Сэм был абсолютно спокоен.

— Ты отодвинул рукой куст, — сурово сказал он. — В следующий раз остерегайся делать движения, которые могут произвести шум. Иначе снова будешь носить копьё.

Я, конечно, отлично помнил куст. Мне казалось, что Сэм этого не заметил. Но он был учитель и замечал все. Я сразу обиделся и сник. После того как я себя так хорошо проявил — а в этом я не сомневался, — уж можно было не корить меня в момент торжества!

К счастью, для споров не было времени. Раненый валлаби — ужин для всего лагеря — убегал, его надо было догонять. Вот когда наконец я принесу домой мою первую добычу, тщетно стараясь не важничать, и выделю традиционные порции сородичам, как раньше они делились со мной.

— Преследуй его и добей,— приказал Улаганг.— Я ранил его в правую ногу. На первых порах ты часто будешь метить в ногу, не зная, попадешь ли в сердце. Помни, что каждая миля преследования уводит тебя дальше от дома, что потом тебе придется проделать этот путь с тяжелой пошей на плечах, может быть не имея воды. Сегодня ты получишь этот урок, чтобы впредь старался всегда убивать с первого раза. А теперь иди. Я за тобой.

Я побежал по кровавому следу и примятой траве, которая заменяла мне указательные столбы.

— Помни, что тебе придется возвращаться,— предупредил Улаганг.— Береги силы. Впереди еще, может быть, до-о-олгий путь.

Тем не менее я продолжал бежать, не снимая пальца с острия вумеры. Когда кровотечение стихло и валлаби немного успокоился, к нему возвратилась его обычная хитрость. С травянистой почвы он перешел на каменистые склоны, где его след был еле заметен.

А я все бежал и бежал. Сэм не отставал от меня ни на шаг.

— Беги, беги,— говорил он.— Это научит тебя быть осмотрительнее. Может, ты устал и хочешь немного отдохнуть? Может, тебе нужны втирания для твоих утомленных ножек?

Он подсмеивался надо мной, играя на врожденной гордости каждого аборигена, кичащегося своей выносливостью и умением ходить без усталости.

Так мы двигались около часа, прошли миль пять по красно-коричневому гравию, но раненого животного все еще не было видно. День был жаркий и душный. Мы сильно вспотели и очень хотели пить. Наконец увидели валлаби, который еле-еле двигался. Через несколько минут я, разозлившись, метнул копьё в медленно двигавшуюся мишень и попал валлаби прямо в сердце.

— Сейчас ты узнаешь, почему разумнее убивать поближе к дому,— сказал Сэм.— Тебе придется нести валлаби в лагерь.

Я взвалил на плечи тело животного, весившее шестьдесят килограммов, и прошагал с ним шесть миль обратно в лагерь.

Спина моя разламывалась на части. Я хотел и есть и пить. Рот и глотка у меня пересохли, но я не жаловался. Около реки мы напались и гордо вошли в лагерь. Теперь

я был охотник второго класса и с нетерпением ждал следующего урока.

Улаганг еще шесть месяцев водил меня за собой. И каждый раз он ранил валлаби, а я преследовал и добивал его.

Я был разочарован тем, что даже после двух или трех таких экспедиций охотник не разрешил мне самостоятельно выследить животное и метнуть копье. Может быть, мое нетерпение истощилось бы, но ведь Сэм в каждом походе учил меня чему-то новому!

Помню, в один особенно жаркий день, освежаемый только легким ветерком, Сэм принялся ловить и убивать черных мушек, садившихся на его тело, и знаком приказал мне делать то же.

Я никогда не видел и не слышал, чтобы так поступали, и спросил Сэма, зачем это делается.

— Ветер сегодня переменчивый, — сказал Сэм. — Он дует то с севера, то с востока, то с юга. Если мухи почуют кенгуру, они с человека перелетят на них. Запах кенгуру больше им нравится. Но те же мухи принесут с собой запах человека.

И действительно, когда мы находились в двадцати ярдах от животных, направление ветра изменилось, мухи перелетели с нас на кенгуру. Те молниеносными движениями передних лап поймали нескольких, обнюхали и моментально умчались прочь. Наша тайна открылась! Тонкое чутье кенгуру подсказало им, что на расстоянии полета мухи — а следовательно, и копья — находится человек, их главный враг.

Когда отказавшись в тот день от охоты, мы шли домой, Сэм повторил свой урок:

— В жаркий день с переменным ветром остерегайся мух. Они могут оставить тебя голодным.

В конце концов ученичество мое закончилось, но только когда я наконец решил действовать самостоятельно. К тому времени я уже больше года ходил с Улагангом. Мне казалось, что я уже постиг все премудрости охоты и, если не докажу, на что способен, обучение растянется еще на долгие месяцы.

Случай представился, когда я с родителями, родственниками и друзьями отправился к Сэнди Плейс, где река Ходжсон впадает в Ропер.

Барнабас Габарла, мой отец, подозвал к себе юношей.

— Можете все охотиться, — сказал он. — Но смотрите, не принесите в лагерь мертвого алава. Помните, что копье, поражающее кенгуру, может убить и человека.

Двое мальчиков сказали, что полезут на деревья за диким медом. Остальные решили поискать птичьи гнезда. Но для меня, охотника второго класса, все это были детские забавы. Я чувствовал себя как кум королю. Разве я не прикончил раненого валлаби, которого подстрелил Улаганг? Разве я целый год не ходил по следам великого охотника и не носил за ним копья? Разве я не умею покрывать свое тело грязью, прятаться в тени, приближаться к животному с наветренной стороны, обходить шуршащую траву, не тревожить птиц и ловить мух?

Ну что ж, тогда все в порядке. Иди на охоту. Берегитесь, жирные, сочные кенгуру! Берегитесь! Великий Охотник вышел на промысел, он идет на вас, хочет помериться с вами хитростью, ибо вы уже поели, а он голоден. Обнюхивайте же мух как следует! Держите ваши уши-радары и трепещущие ноздри открытыми.

Дэвис Маюлджумджумгу, мой десятилетний двоюродный брат, пошел со мной в качестве оруженосца. Да, да, теперь у меня был свой оруженосец, свой ученик, хотя я еще не выследил и не убил самостоятельно ни одного кенгуру. Ну, а Дэвис еще не убивал ни одного животного размером больше рыбы.

Мы обмазались грязью и пошли к горке, где я мог следить за Дэвисом, а Дэвис за мной на случай, если за нами увяжется пигмей-бурджинджин или каменный человек, подлый маланутга-пугга. Десятилетние мальчики легко пугаются в лесу — это я хорошо помнил.

С уступа горы я взглянул вниз в долину. Там, в ста ярдах от нас, пасся валлаби.

— Оставайся здесь! Стой смирно! — велел я Дэвису. До этого я никогда никому не давал приказаний и теперь сам поразился своему авторитетному тону.

В воздухе было довольно тихо, хотя коварный ветерок, менявший свое направление, шевелил верхушки травы и листья. С самого начала я решил, что Улаганг пошел бы к дереву, находившемуся впереди.

Осторожно! Осторожно!

Убью ли я его?

Может быть, если не перемешится ветер.

Может быть, если не зашуршит трава.

Может быть, если мухи не перелетят с одного места на другое.

Может быть...

Иди спокойно. Иди спокойно.

Я тихо-тихо подбирался к валлаби, но ветер вдруг подул в другую сторону.

Что это Стэнли Порт говорил в воскресной школе о том, как господь бог ругал ветер? Хорошо бы господь бог был сейчас здесь и последил за тем, чтобы он не менял своего направления.

До валлаби оставалось уже не больше тридцати ярдов. Я то пригибался к каменистой земле, то ловил мух, а один раз, когда животное взглянуло в мою сторону, застыл без движения, превратившись в статую. Несколько минут я стоял на левой ноге, комично вытянув правую назад, разведя руки в стороны, пока валлаби рассматривал меня, недоумевая, очевидно, почему раньше не заметил эту скульптуру.

Только когда я сократил расстояние до двадцати ярдов и мне оставалось пройти ярдов пять до наступления великой минуты, я увидел, как приближается смерч.

Вилли-вилли!

Красный от пыли и высохших листьев, он закручивался на земле с точки меньше булавочной головки и веером поднимался к небу. Для охотника ураган очень опасен.

Что говорил мне Улаганг о вилли-вилли? Его слова засели в моей голове не менее прочно, чем теоремы мисс Дав:

— Вилли-вилли всасывает воздух со всех сторон, независимо от направления ветра. Если ты попадешь в образуемую им поблизости воронку, животное тебя учует.

В этот миг я, Вайшулданья, стал охотником первого класса.

Я поднял камушек и бросил его так, чтобы он упал между головой валлаби и вилли-вилли. Шум испугнул животное. Оно инстинктивно отпрянуло в сторону, ближе ко мне, и, остановившись, обернулось посмотреть, откуда этот шум. Его глаза, ноздри, уши были повернуты в противоположную сторону от истинной опасности.

Это было последнее движение, которое валлаби сделал по собственной воле. Пока камень летел, я бесшумно вложил копьё в вумеру и метнул его прямо в тело валлаби.

— Попал! Попал!

На какой-то миг валлаби ухватился за древко копьа своими лапами, похожими на человеческие руки, отчаянно стараясь его вытащить, а затем повалился вперед и испустил дух.

— Як-аи! Як-аи! — кричал Дэвис с вершины горки. Меня охватило волнение. Сердце забилося:

«Ты попал! Ты попал! А это было нелегко. Так подкрасться мог только настоящий охотник!»

Но тут я вспомнил, какое безразличие выражало лицо Улаганга, когда он убивал кенгуру (оно как бы говорило: «О, это пустяки!»), и подавил желание закричать в ответ моему юному товарищу. Вместо этого я поднял убитого валлаби и положил к его ногам:

— Отнеси Улагангу и расскажи ему о вилли-вилли.

— Большой, жируный! — приговаривал Дэвис. Для меня не было лучшей похвалы.

Мальчик наклонился и попытался поднять валлаби себе на плечи. О, тяжелый! Дэвис вспомнил, что до лагеря не меньше двух миль. Валлаби и в самом деле был тяжелый, и мы несли его вдвоем, взявшись за длинный хвост и тонкие лапы, которые на этот раз не поймали муху, предупреждавшую своим запахом, что в лесу поблизости появился опытный охотник.

Мой отец, мать и дядя Стэнли Марбунггу были приятно поражены.

— Теперь ты можешь кормить семью. Ты стал первоклассным охотником, — сказал отец.

— Я его вырастил — сказал Марбунггу.

— Я его выносила вот здесь, — моя мать погладила себя по животу.

— Я его выучил, — сказал Улаганг. — Теперь он может прокормить жену и детей. Маюлджумджумгу рассказал мне о вилли-вилли, о том, как ты бросил камушек и заставил кенгуру приблизиться. Друг, я буду охотиться с тобой.

Сказать младшему товарищу, что ты готов с ним охотиться, было знаком высшего одобрения. Улаганг, по моему, гордился больше всех, не считая меня, конечно, ибо моя гордость была беспредельна.

После этого я постоянно охотился и убивал животных. Подкрадывался я к ним, уже не прилагая для этого усилия, и редко возвращался в лагерь без добычи.

Однажды я по сути дела заслужил лавры мастера охоты, выследив и убив динго, дикую собаку, самое пугливое и хитрое животное леса, но по иронии судьбы никому не мог рассказать об этом подвиге.

Я преследовал ее сто ярдов, до небольшого крика, подбираясь с невероятными предосторожностями, терпеливо ждал, пока она принюхивалась и прислушивалась, и, чтобы свист моей вумеры и копья не был слышен, метнул оружие, когда динго начала пить.

Лап-лап-лап-лап-лап...

Теперь дикая собака не могла меня слышать, и я выстрелил. Вскоре она сдохла.

Не многим из моих сородичей удавалось убить собаку динго или хотя бы приблизиться к ней на расстояние броска. Меня обуревало желание поддеть ее труп на конец копья и положить его к ногам Улаганга. Но динго — мое второе «свидение», мой второй тотем²⁸.

Если станет известно, что я убил динго, мне придется возместить ущерб моим двоюродным сестрам и братьям: детям сестры моего отца, их сводным сестрам и братьям. Таков закон. Чего бы они ни потребовали из моего имущества — копий, бумерангов, утвари, одеял, платья, — я должен им безропотно отдать за мое «свидение», даже если останусь нищим.

Этим законом иногда пользуются, чтобы расквитаться с человеком, который по оплошности оказался неучтывым или обидел соплеменника. Если, например, мне очень хочется курить, а мой друг вытаскивает из полной пачки сигарету и закуривает, не предлагая мне, я могу убить одно из его «свидений» — может быть, гуану, змею или летающую лисицу — и принести в лагерь.

— Пачку сигарет! — потребую я. — Всю целиком! Десять фунтов, что ты выиграл вчера в карты! Твой перочинный нож! Рубанку с тела!

И он должен выполнить все мои требования, чтобы выкупить свое «свидение».

Ведь я могу потребовать все, что угодно.

²⁸ Члены тотемической группы, или рода, обладают совместно одним или несколькими тотемами, а порою и абориген принадлежит к нескольким тотемическим группам одновременно.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В лагерях аборигенов всегда много собак. Это наши друзья. Многие из них нечистокровные псы — плод любви местных сучек и динго. Но независимо от породы они приносят большую пользу, и не только тем, что помогают разыскивать змей и гуан.

Собачина, конечно, великолепная еда. Я знаю, что многие европейцы питают отвращение к собачьему мясу, хотя это не мешает им употреблять в пищу свиней, овец, крупный рогатый скот. Они приходят в ужас от того, что мы едим личинок, а сами считают улиток и лягушек изысканным блюдом. У собак хорошее красное мясо, ничуть не хуже, чем у валлаби. Мы никогда не едим наших любимцев, но это, безусловно, случается у племен Центральной Австралии, когда затянувшаяся засуха лишает их естественных источников питания.

Зимой мы спим с собаками. Я клал под свое одеяло сразу шесть псов, и только тогда они меня согревали.

«Ночь шести собак» на языке леса означает очень холодную ночь.

Для сведения тех читателей, которые воскликнут «А блохи?!», я должен сказать, что они вовсе не переползают с собак на человека. Меня ни разу не кусали блохи с собаки, ни разу я не находил их на себе. Они верны своим хозяевам.

У нас есть несколько неписанных законов обращения с собаками.

Главный из них предписывает прятать или прогонять из лагеря собак при появлении поблизости вооруженного полицейского или патрульного офицера, хотя до этого дело обычно не доходит: почти все собаки и сами знают, что ружье несет им смерть и что если они не исчезнут, то станут для него мишенью. Поэтому каждый пес из лагеря аборигенов всегда готов обратиться в бегство.

Другой закон повелевает накормить мясом собаку, убившую добычу. К моему удивлению, я заметил, что собака, загрызшая гуану, валлаби или другое животное, не прикаснется к его мясу, даже в вареном и жареном виде, пока оно продолжает сохранять ее собственный запах. Она ест только животных, убитых другой собакой или человеком. Это, конечно, не относится к динго, которые сами ищут добычу.

С динго состязаются в хитрости и изворотливости ястребы и вороны. Если некоторые из них и попадают к нам в горшок, то только по случайности — счастливой для нас и роковой для них. Обычно они узнают о появлении охотника, когда тот еще только вступает в лес, и весьма успешно избегают встречи с ним.

Коршуны — мы называем их ястребами-поджигателями — ловкие охотники. Большую часть своей пищи они добывают и уничтожают на лету, особенно поблизости от лесных пожаров, пикируя сверху на спасающуюся от огня саранчу. Впрочем, насекомые для них только закуска. И ястребы и вороны — птицы плотоядные и не брезгуют даже тухлятиной. Мы их считаем уборщиками, ибо они очищают территорию лагеря от объедков мяса.

У меня хорошее зрение, но сколько раз я хотел иметь такие «телескопы», какими вооружены ястребы-поджигатели! Недаром выражение «ястребиный глаз» вошло в поговорку. Я видел, как эти хищники с огромной высоты кидались на маленьких мышей, крыс, ящериц, змей, которые на таком расстоянии, да еще за укрытиями, были бы, конечно, не замечены человеком.

Ястребы часто сами поджигают траву и лес, чтобы облегчить себе охоту, и этим вводят нас в заблуждение. Я видел, как ястреб хватает тлеющую ветку и, пролетев с полмили, бросает на сухую траву. Опаленные огнем и просто напуганные грызуны и пресмыкающиеся в дикой панике бросаются бежать и попадают в когти поджидающих их хищных птиц. Когда этот участок выгорает дотла, ястребы переносят огонь дальше. Мы называем такие пожары джалуран.

Почему это вводит нас в заблуждение?

Абориген, которому предстоит пересечь владения чужого племени, предупреждает о своем приближении. Это пережиток еще тех дней, когда племенная территория считалась священной и любое посягательство на ее неприкосновенность было равносильно объявлению войны. Даже сейчас нам не нравится, когда чужаки без позволения пересекают наши границы. Мы по-прежнему испытываем преувеличенный страх перед шпионами (недостаток, присущий, очевидно, не только аборигенам) и вовсе не хотим, чтобы на нашей земле охотились люди других племен.

У каждого племени есть свои специальные «курьеры» — если хотите, «дипломатические представители», аккреди-

тованные в соседних племенах. Если корробори ябудурава должно состояться в Майнору, стране рембаррига, последние направляют к алава «курьера» с жезлом-посланием — своеобразной потой президента. Это означает, что нам предложено вступить в их владения.

Мне не раз приходилось выступать в роли «курьера». По дороге я через каждый час разжигал костер, извещая рембаррига о своем приближении. Завидев столбы дыма со стороны реки Ропер, они уже знали, что я в пути, и высылали мне навстречу провожатых.

В ясные дни дым костра виден на расстоянии даже ста миль. Он всегда означает одно: поблизости находится путник. В юмористических книгах и на карикатурах дымовую сигнализацию часто изображают средством передачи сообщений на большие расстояния. Это неверно. Я никогда не слышал, чтобы столб дыма имел иное значение, помимо того что говорил о присутствии человека. Поэтому, конечно, ястребы, поджигающие траву поблизости от лагеря, сбивают нас иногда с толку.

Не только ястребы, но и мы обходились без спичек. До тех пор пока я не стал цивилизованным человеком, мне приходилось разжигать огонь при помощи круглой палочки из мягкого дерева — будаларра. Без нее я никогда не выходил из дому.

Зажав будаларр в вертикальном положении между ладонями и крепко прижав нижний конец к куску дерева, я быстрыми движениями рук взад и вперед заставлял его вращаться. Палочка терлась о дерево, и, как только оно начинало тлеть, я подносил тоненький кусочек жира гуаны, который всегда был под рукой, пучок сухих листьев и травы. Еще в школе я умел таким образом за две минуты добыть огонь.

В сезон дождей, когда сухой травы мало, я вынимал ее из термитника. Белые муравьи укрепляют длинными стеблями травы стены своих огромных земляных куч — точно так, как строители стальными полосами крепят железобетон. В этих кладовых термиты хранят и семена травы. Но должен предупредить, что получить огонь по моему способу может только тот, у кого ладони затвердели и покрылись мозолями, иначе пузыри появятся значительно раньше, чем дым.

Двое мужчин могут развести огонь меньше чем за минуту, быстро проводя по куску дерева ребром вумеры, как

пилой. Я высекал огонь, ударяя один о другой камни железняка до тех пор, пока не появлялась искра и не воспламеняла растертую в порошок траву.

Но увы! Мы живем в век спичек, зажигалок и запальных свеч. Мальчики аборигенов теперь вырастают, не умея добывать огонь своими руками.

Я уверен, что некоторые из них даже не слышали о таком способе. И, уж конечно, они не умеют бросать копье и бумеранг, найти человека по его следам или выследить в лесу животное.

Очень многие аборигены превратились в беспомощных горожан, которые добывают еду и питье при помощи только консервных ножей. Доведись им жить охотой, они умрут с голоду. Это одно из трагических последствий нашей быстрой ассимиляции с белым населением.

Не только ястребы облегчали себе охоту пожарами. Мы и сами часто так поступали, особенно в конце долгого сухого сезона, когда пищи мало и дичь прячется в траве, достигающей в высоту десяти футов. Возможно, этому наши предки научились у птиц.

Поджечь полукружие травы поручали старикам, слишком слабым для того, чтобы охотиться. Мы же, охотники, прятались за деревьями и кустами, с наветренной стороны. Завидев огонь и почуввав дым, кенгуру и валлаби кидались в сторону — прямо на нас. Но это не грозило им большой опасностью, пока они двигались, ибо попасть копьем в прыгающего кенгуру почти невозможно. К счастью для нас, они обычно покидали зону огня только тогда, когда были уже ослеплены дымом. Достигнув линии охотников, — а мы по долгому опыту знали, где прятаться, — они были вынуждены остановиться, ослепленные слезами, текущими из воспаленных глаз по шерстистой морде.

Тут начиналось хладнокровное избиение. У кенгуру не было никаких шансов на спасение. Тот день, когда не каждый из нас убивал по животному, мы считали неудачным.

Иногда раненный в спину или в мягкую часть туловища кенгуру убегал вместе с копьем или бросался с ним в реку. Так или иначе оружие пропадало.

Это была серьезная потеря. Копье подгонялось по росту охотника, по весу и длине руки. Оно делалось по мерке, как шьется костюм, с той разницей, что в роли «спортивного» выступал сам охотник. С копьем другого аборигена я чув-

ствовал бы себя не лучше, чем снайпер с чужой винтовкой.

Поэтому, лишившись копья, я немедленно принимался делать новое. Инструментов у меня было недостаточно. Копье с железным наконечником я мастерил из старой подковы, куска оцинкованной трубки, брошенной прохудившейся канистры для воды. При жизни моего деда железа на реке Ропер было мало и ценилось оно очень дорого. При жизни деда моего деда железа вообще не знали. Копья тогда делали целиком из дерева или с каменными наконечниками.

Я брал два каменных топора. Один служил мне наковальней, другой — молотом. День и ночь, день и ночь стучал я по драгоценному кусочку металла, пока он не становился плоским, симметричным и не приобретал нужной формы. Края заострял и обтачивал о скалу. Иногда тратил несколько дней, а то и несколько недель — это зависело от твердости железа и моего усердия.

Затем я срезал молодое деревцо джинди-джинди дюймовой толщины, каких много на реке Ропер, и проводил им над пламенем костра. Древесный сок закипал, а деревце становилось настолько гибким, что я без труда его распрямлял.

Обуглившуюся кору я обдирал и оставлял будущее древко на солнце. Закаленное в моем примитивном горне, оно после сушки становилось прямым и твердым.

Теперь шла тонкая работа — надо было насадить острие копья. На конце древка я делал глубокую выемку, вставлял туда лезвие бритвы, замазывал его воском диких пчел и перевязывал корой бутылочного дерева. Сверху я накладывал волокнистое сухожилие кенгуру и еще раз замазывал воском диких пчел.

Когда копье было готово, я натирал древко кровью кенгуру и красной охрой. Мы верим, что натертое кровью копье притягивается к кенгуру, как сталь к магниту. Я не знаю ни одного охотника, который пренебрег бы этим обычаем.

Вам это кажется смешным? Может быть, вы и правы и это действительно глупый обычай. Но и белые охотники поступают не умнее, целуя пулю, прежде чем выстрелить. А обычай плевать на подкову и бросать ее через левое плечо?

Наконец, копье вставляют в вумеру и производят пробный бросок. Рассекая воздух, копье вращается, как пуля,

выпущенная из дула ружья. Если конец древка при колебании в полете описывает слишком большую дугу, копье свистит, предупреждая кенгуру о своем приближении. Его исправляют, пока оно, достигнув совершенства, не летит беззвучно.

Вумеру также делают из джинди-джинди, а деревянное острие прикрепляют к древку соком корней железного дерева.

С тех пор как в Австралии высадились первые белые поселенцы, аборигенов всегда изображают с бумерангом в руке. Мой народ переживал в то время еще только период камня и дерева. Пропитание себе алава добывали копьями с каменными наконечниками, а также деревянными метательными палицами. Изогнутая палка — бумеранг — не считалась у нас серьезным оружием. Даже сейчас бумеранг имеет в нашем племени второстепенное значение.

Охотиться мы предпочитали более действенным оружием — копьем. Бумеранг я брал, выходя из дому ненадолго — вдруг пробежит валлаби или пролетят дикие гуси. Мы им пользовались почти исключительно для стрельбы по движущейся цели, особенно по стае уток или гусей, несомнительно перелетавшей над нашей территорией. В таких случаях мы кидали им навстречу десятки бумерангов, и редко выпадал такой день, чтобы птицы не вносили разнообразия в наше меню.

Война и торговля принесли в Арнемленд бумеранги. Во времена свидений два отряда воинов — один с юга, другой с севера — жестоко схватились у Твин Пиннакис, недалеко от Ропер Бара. Южане были вооружены бумерангами, северяне — копьями. Кровопролитное сражение почти ничего не доказало, кроме того, что и то и другое оружие может наносить человеку смертельные раны.

После этого река Ропер стала как бы пограничной линией: к северу от нее делали копья, к югу — бумеранги. Но, поскольку битва происходила на земле алава, мы научились изготавливать оба вида оружия, и эта традиция сохранилась на века. Многие бумеранги, имеющиеся сейчас в Арнемленде, были изготовлены племенами за сотни миль от нас и попали на север в результате обмена на красную охру и копья с железными наконечниками. Некоторые из этих товаров путешествовали по континенту много лет и прошли расстояние в две тысячи миль. Бумеранги, увидевшие свет на Налларборской равнине, достигли север-

ного побережья. Копья Арнемленда применялись в Налларборе.

Джингали, ваддаман и мудбра сражались грозными бумерангами с загнутым концом — варрадула. По сравнению с обычным оружием они выигрывали как водородная бомба в сравнении с фугасной. Щит, а впоследствии и нулла-нулла — одновременно и оборонительное и наступательное оружие — надежно защищали от старых бумерангов, но оказались бесполезными против модели с загнутым концом. Секрет варрадулы в том, что от удара о щит или нулла-нулла ее загнутый конец, рикошетируя с большой скоростью, ранил или убивал жертву. Может быть, варрадула и была нашим первым тайным оружием.

Как и все жители долины реки Ропер, я умел делать не только копья, но и бумеранги. Топором придавал нужную форму куску чайного или железного дерева, полировал стеклом и с помощью примитивных приспособлений из кусков железного лома вырезал на нем узор, который мы называли минанган.

Минанган изображали не только на оружии. Он украшал также наши тела — грудь, живот и руки. У некоторых племен нанесение подобных шрамов — буркун — входило в церемонию инициации. Но у алава они не имели значения — разве что служили напоминанием о человеке, работа которого причинила вам столько мук. Алава мог иметь любое количество шрамов, но мог и вообще их не иметь — на этот счет не существовало никаких правил.

Когда мне было пятнадцать лет, дальний родственник по имени Лильярри решил, что пора сделать мне татуировку.

— Я хочу украсить тебя, — сказал он.

Я был готов к этому, ждал, когда найдется человек, желающий, чтобы я запомнил его на всю жизнь, и твердо решил дать отпор.

— Нет, — резко ответил я.

— Я сделаю тебя красивым, — продолжал соблазнять он.

— Я и без шрамов красивее тебя.

Считалось, что буркун нравится женщинам.

— Если ты не согласишься татуироваться, девушки не будут смотреть на тебя, — уговаривал Лильярри.

— Тогда я останусь холостяком. (Это не помешало мне потом иметь жену и шестерых детей.)

Я видел, как шрамы буркуи, достигающие двенадцати дюймов в длину, заживали на других. Сейчас порезы наносят бритвенным лезвием, а в старину для этой цели употребляли острую палочку, закаленную в огне. Открытые раны засыпают землей и золой во избежание инфекции. Из-за этого шрам получается к тому же выпуклым. Я ничуть не жалею, что на моем теле нет подобных украшений.

Бумеранги находят у нас еще одно важное применение: ими отбивают ритмы, которые служат аккомпанементом сотням и тысячам песен во время церемониальных корробори типа кунапици. Тысячам песен? Да, может быть, даже сотням тысяч. Кунапици продолжается полгода, каждый день и каждую ночь, часто до самой зари. В это время исполнители песен под стук бумерангов ведут нескончаемое повествование, передающееся из поколения в поколение, из уст в уста, из века в век.

Кунапици — ритуал, культ, исполняемый алава, мара, маугараи и другими племенами, живущими на реке Ропер. Он распространяется на север — до Ийркала на побережье Арафурского моря и Милингимби, на восток — до острова Грут-Айленд в заливе Карпентария, и на юг, где пересекает пустыню и достигает страны варраманга и вайлбри на Северной территории в Центральной Австралии. Его не могут задержать барьеры языка и культуры, проникновение белых, сегодня он так же жизнеспособен, как в старину.

Кунапици, языческий, глубоко религиозный культ, приводит в отчаяние христианских миссионеров. Они пытались искоренить его, но добились не больше, чем древние римляне в борьбе против самого христианства. Правда, наиболее предосудительные церемонии подправлены, а то и вовсе отменены в угоду нормам приличия двадцатого века.

Алава, например, вскоре после появления у нас первых миссионеров, которые пришли в ужас от кунапици, отказались от публичного обряда совокупления мужчин и женщин, символизировавшего плодovitость и воспроизведение жизни.

Отец моего отца и его современники вступили в спор с людьми бога, которые возмущались их ярким язычеством и его наиболее вопиющими проявлениями.

Миссионеры старались вытравить все корробори вообще.

Алава не хотели даже слышать об этом. Кунапиши и ябу-дурава составляли часть наследия предков, и алава добились их сохранения.

— Мужчины и женщины не должны прелюбодействовать, — говорили им миссионеры. — Это одна из заповедей господа бога. А прелюбодействовать публично, превращать такого рода акт в церемонию — настоящий скандал.

Это были дерзкие слова. Какое право имели белые люди требовать, чтобы мы отказались от ритуала, выполнявшегося племенами в течение более чем десяти тысяч лет? Какое право имели навязывать свою веру в их бога, грозно взиравшего на нас с неба в ту самую минуту, когда нами овладевал безграничный душевный экстаз?

И тем не менее белые победили. Миссия стала пристанищем от жизненных невзгод и голода, и мой народ был ей благодарен. Когда отец был еще мальчиком, только что прошедшим обрезание, старейшины племени сказали миссионерам:

— Кунапиши очищен. Отныне он не будет вас оскорблять: ритуал изменен так, чтобы не нарушать ваши заповеди.

Я часто раздумываю, поняли ли миссионеры, какую большую уступку мы им сделали.

Не стану пытаться подробно описывать даже самые священные таинства корробори аборигенов. О нем написаны целые тома, да и мне, чтобы рассказать о всех сложных ритуалах, потребовалась бы отдельная книга. Скажу только, что песнями и танцами Кунапиши мы славим Землю-мать — мать-богиню, которую считаем источником всей жизни, нашего языка, нашей культуры, пищи, законов, детей, самого нашего бытия.

Когда-то кунапиши начинался с корробори женщин племени, но потом мужчины стали придавать празднику настолько большое значение, что не только сделали его своим достоянием, но и вообще отстранили женщин и ограничились их участие последним, заключительным актом церемониального совокупления. Теперь женщинам не разрешается танцевать Кунапиши и даже присутствовать на нем в качестве зрителей.

Вместо этого их посылают собирать корни и семена лилий, а также ямс для лешешек, чтобы накормить охотников, на протяжении многих месяцев занятых исполнением торжественного ритуала возрождения жизни.

В кунапиши я участвую не как танцор, а как распорядитель — джунгайи. Я даю указания тем, кто исполняет танец ястреба, гильеринг-гильери — танец наяды и сотни других. Я их наставник. Они — мои ученики.

— Джаулвоку! — приказываю я. — Совы!

И певцы заводят песню о совах. К ним присоединяются танцоры, покачивая в свете костра разрисованными телами, воздевая вверх руки, кружась, издавая шипение, ударяя в такт стуку бумерангов мозолистыми ногами о землю:

Джаулвоку банджи,
Джаулвоку банджи,
Мими банджи,
Мими банджи!

Старый певец Пугала извлек из тайников своей удивительной памяти хранившуюся там с последнего кунапиши бесхитростную историю о сове, которую ослепила молния.

Танцоры двигались к Пугала.

— Э-э-э-а-а-ах! — восклицали они. — Ах-ха! Ах-ха!
Э-ах! Хо-хо!

Тучи пыли, вздымаемые ногами танцующих, обволакивают старого Пугала, но он настолько поглощен песней, что повторяет ее снова и снова. Пыль надвигается на танцоров, но и они не замечают ничего, кроме чувственного ритма, заставляющего их сердца биться от волнения, когда вздрагивающая от ударов сильных ног земля зовет аборигенов обратно к Земле-матери и Змее-радуге, к женскому и мужскому созидательному началу, первобытным символам плодovitости и воспроизведения жизни.

Иногда танцевали днем, а ночью пели, иногда наоборот — днем пели, а ночью танцевали, иногда пели и танцевали одновременно. Но во всех случаях я оставался режиссером и регулировал номера программы, подачу занавеса, освещение...

Я был также и главным гримером, ибо джунгайи отдает распоряжение о том, чтобы тела танцоров были разрисованы человеческой кровью и украшены гусиными перьями.

Кровь я иногда брал из своей собственной руки: вскрывал бритвенным лезвием вену и подставлял бутылочку. Перья обрывали с пестрых гусей, которых на лету настигали бумеранги охотников. Пух втирали в слой белой глины на телах танцующих. Не думайте, что работа гри-

мера была из легких — каждый танец требовал своих украшений. К счастью, у меня были опытные помощники.

Звание джунгайи я унаследовал, с одобрения племени, от моего отца. Он главный джунгайи, распоряжающийся кунапиши, где бы его ни танцевали — начиная от северо-восточного мыса Арнемленда и кончая территорией джингали у Ньюкасл-Уотерс. Хотя ему сейчас около семидесяти лет, Барнабас все еще объезжает свой огромный приход, охватывающий сто тысяч квадратных миль.

Главный джунгайи объединяет в своем лице судью по делам ритуала и священнослужителя. Он карает людей, нарушающих суровые законы кунапиши, принимает новых членов, крестит путников, проходящих через наши южные районы, чтобы они могли пользоваться водой из священных источников. Крестнику окропляют водой голову. Точно так же крестят детей христиане; разница состоит лишь в том, что мы делали это задолго до рождества Христова.

Как-то раз старейшины сообщили мне, что я унаследую от отца эту высшую культовую должность, а недавно попросили меня занять его пост. Я стал высокопоставленным лицом в округе, простирающемся на юг от реки Ропер до самого Ньюкасл-Уотерса, а следовательно, должен был отныне раз в полгода объезжать, а может быть, и обходить его.

Если, скажем, на берегах Махлинджи Хоул возникнут недоразумения или споры среди родов джингали по поводу церемониала кунапиши, я должен буду в качестве третейского судьи направиться туда и, если не подвернется попутный транспорт, отмахать пешком триста миль.

Хотя я и принадлежу к племени алава, джингали выполняют мое решение, точно так же как англо-австралийский католик подчиняется указаниям папы римского.

Моя обязанность — отбирать юношей, достойных участвовать в кунапиши, и с этой целью наводить справки о каждом из них. Выдержан ли? Умеет ли хранить тайны? Интересуется ли девушками?

Я должен соблюдать осторожность, не выслушивать болтунов, которые могут разгласить тайны ритуала, и стану внимательно прислушиваться к словам старейшин, которые одних юношей рекомендуют как разумных и сдержанных, а от приема других советуют воздержаться, пока тем не минет восемнадцать лет и они не научатся соблюдать извечный закон нашего «масонства».

Но власть высшего джунгайи простирается значительно дальше, чем только прием новых членов и соблюдение церемониальных обычаев. Фактически я имею право обречь предателя тайнств кунапиши на смерть или даровать ему жизнь, заменив казнь большим штрафом.

Младшие джунгайи, мои советники, могут сказать:

— Этот человек похитил украшение кунапиши. А тот открыл секрет ритуала женщине. Пусть оба они умрут.

И я могу опустить большой палец вниз — осудить их на смерть — или наказать только штрафом и лишением свободы. Обычно в таких случаях раздраженные обвинители оказывают на высшего джунгайи давление, требуя смертной кары. А если он часто противостоит их воле, то они могут потребовать его смещения.

Мой отец, человек строгий, но снисходительный, всегда отказывался от смертных приговоров и тем навлек на себя недовольство младших джунгайи. Он не раз им говорил: «Пусть человек заплатит большой штраф или выберите себе другого высшего джунгайи». И Барнабас Габарла пользовался таким авторитетом, что старейшины соглашались с его решениями, не желая слушать наговоров младших джунгайи.

Отец предупредил и меня, что, став высшим джунгайи, я буду обязан решать вопросы жизни и смерти. Я присутствовал на тайных заседаниях, где речь шла о моем избрании, и знал, какие трудные, ответственные решения придется мне принимать, когда я приступлю к исполнению своих обязанностей.

Пока этому мешает моя работа фельдшера в отделе здравоохранения Северной территории. Я еще не уверен, вернусь ли в конце концов на реку Ропер, где буду носить подобающие моему званию одеяние и цепь. Может быть, я делаю больше для моего народа, помогая его лечить, чем возглавляя главный церемониал. Страшный опыт нашей семьи — я расскажу о нем дальше — заставляет меня продолжать свою работу.

Тем не менее мой народ уже считает меня высшим джунгайи, хотя я только изредка появляюсь в родных местах. Последний раз я прилетел на реку Ропер с Летающим Доктором как раз во время кунапиши. Едва я спустился с трапа «воздушной амбулатории», как мне предложили осмотреть церемониальные принадлежности — волосы, пояса, перья, украшения, изображения... Я чув-

ствовав себя как генерал, производящий осмотр оружие и обмундированию своих войск.

Я нашел все в полном порядке и разрешил продолжать ритуальные церемонии. Уверяю вас, пока я делал инспекционный обход площадки для корробори, его участники стояли по стойке смирно, как гвардейцы в почетном карауле на параде. У нас нет королей и королев, но высший джунгайи облечен королевской властью. У алава король я.

Это надо было заслужить всей своей жизнью. Мне, как и всем мужчинам племени, пришлось пройти испытание молчанием, участвовать в корробори лорркун и ябудурава, и только тогда я был допущен к кунашпи.

Лорркун — простая похоронная церемония, связанная с погребением костей умершего в полом бревне, которое помещают на сооруженную в ветвях дерева платформу — гулла-гулла — в его родном краю.

Ябудурава, как и кунашпи, — ритуальное корробори плодovitости, длящееся полгода. Я должен был принять в нем участие, понять смысл умилюстивляющих просьб к душам животных и птиц, которые составляют нашу пищу, и к душам предков — лишь после этого я удостоился высшей чести быть полноправным членом племени.

И только тогда я стал тем избранным мальчиком, которого старейшины прочили на пост высшего джунгайи.

И как настоящий мужчина мог быть теперь отдан жещине.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В период буреветника, когда созревает манго и резвятся летающие лисицы, мысли молодого алава обращаются к любви, вернее, к тому, что он принимает за любовь.

Я, конечно, знал, что на свете существуют девочки.

Они, как и крокодилы, были нашими естественными противниками.

С первых школьных дней и до той поры, пока я не стал полноправным членом племени, я думал о них как о злейших врагах, которых надо всячески изводить и мучить, причиняя им, если можно, физическую боль. Я ненавидел их всех с неослабной силой.

К счастью, у аборигенов мальчики и девочки мало общаются между собой. Мы находились все время с мужчинами, они — с женщинами и относились друг к другу с величайшим презрением. Но в свободное время, когда целы-

ми семьями — человек по тридцать, а то и больше — уходили в лес охотиться, стычки между подростками обоих полов были неизбежны и даже подготавливались заранее.

Помню одно из наших любимых развлечений: с игрушечными бумерангами из коры камедного дерева мы кидались на девочек, как на стадо гусей. Очень скоро начинали лететь и перья. Но девочки пускали в ход заостренные палки для копки ямса и отчаянно щипались. Часто девочка, получившая удар бумерангом, вне себя от ярости, кидалась с палкой на обидчика и наносила ему кровавую рану.

Это было равносильно объявлению войны.

Мы, дети, любили смотреть на драки, независимо от того, кто в них участвовал — мужчины или женщины. Мы получали наглядный урок обращения с копьем, бумерангом и нулла-нулла. От женщин, надо сказать, мы заимствовали больше, хотя бы потому, что они дрались в два раза чаще.

Но драться самому приятнее, чем наблюдать, и при малейшем поводе мы нападали на девочек, а они — на нас. Сражения на палках своей ожесточенностью напоминали собачьи драки. Сцепившись намертво в клубок, мы с визгом катались по земле, и только окрики старейшин заставляли нас разойтись.

Стычки сопровождались страшными проклятиями, которым мы научились главным образом от женщин:

— Выпусти этой мрази палкой кишки!

— Дай суке по голове!

— Перебей ей ноги нулла-нулла!

Не знаю, что думали миссионеры, а особенно их жены, наблюдая, как мы воюем, или вслушиваясь в наши воинственные крики. Может быть, они думали, что мы играем? А может, не понимали смысла наших слов? Во всяком случае, они почему-то не вмешивались в драки.

Я знаю, у белых мальчиков и девочек годам к четырнадцати враждебность уступает место первой любви, желанию обнять и поцеловать предмет своей страсти. Алава не целуются. Мы предпочитаем драться, чем флиртовать. Наши юноши не произносят нежных слов, не прижимаются к девушкам, не стараются погладить их под покровом темноты или поцеловать. Может, именно поэтому я, как и многие другие аборигены, никогда не ухаживал за девушкой. Может, поэтому большинство алава не целуют сво-

их подруг даже после женитьбы... Отчуждение детских лет переходит в сдержанность, которая мешает непосредственному проявлению нежности.

Тем не менее и для меня настало время буревестника, когда созревает манго и резвятся летающие лисицы.

Сначала мне в жены была обещана Нора Биндул. Как старшая дочь Юпитера из секции Баланг племени иганди, она предназначалась старшему сыну Барнабаса Габарлы из секции Бурлангбан племени алава. Таков был закон. Она была сестрой Сэма Улаганга. Он, будущий шури, обязан был учить меня охотиться.

Вскоре после того как Нора появилась на свет, ее дядя со стороны матери, Гурукул, сказал Юпитеру:

— Вот жена для Вайпулданьи.

Но закон племени, не знающий уступок в одних случаях, проявляет терпимость в других.

Когда мне исполнилось двадцать лет, Нора была еще совсем ребенком. Мне потребовалось бы ждать еще целых пять лет, пока она будет способна стать женщиной, а племя на это время лишилось бы производительной силы молодого мужчины. Дело продолжения рода пострадало бы. При таких условиях старейшины оказались склонны к компромиссу и вскоре нашли мне другую жену.

Ее звали Анна Дулбан из секции Нгамаянг племени вандаранг.

Найти ее было нелегко.

Приходилось считаться с племенными запретами, не менее строгими, чем законы церкви. Прежде всего следовало заручиться согласием моего дяди со стороны матери — Стэнли Марбунгу. Он был моим опекуном и называл меня «нибарли» — сын. Его слово имело решающее значение, когда речь заходила обо мне. Возможно, мой отец хотел, чтобы я дождался Норы. Но, может быть, и не возражал против брака с Анной. Его пожелания не имели ни малейшего значения. Моя мать, которая тоже не имела собственной точки зрения, говорила:

— Как скажет мой брат, так и будет.

Так принято и в моей семье. У нас с Анной шесть дочерей, но мне не дано права решать, когда и за кого им выходить замуж. Об этом позаботится их дядя, брат Анны, Джонни Нангуру.

Когда дядя-абориген ищет жену для своего нибарли, он вовсе не интересуется такими мелочами, как внешность,

характер или умение вести хозяйство. Красота женщины, ее безделушки, темперамент, кулинарное искусство ничто по сравнению с главным вопросом: пара ли она своему мужу?

В большинстве племен все мужчины и женщины делятся на группы — так называемые «кожи» или секции, определяющие их родственные отношения внутри племени и за его пределами. Я принадлежу к «коже» Бунгади, хотя мой отец — Бурлангбан. Шесть моих дочерей тоже Бурлангбан. Дети — и мальчики и девочки — относятся к секции своего деда по отцу.

Жениться на «не паре», то есть на девушке из запретной для меня секции, — серьезное правонарушение, заслуживающее тяжкой кары.

Аборигены считают, что браки между членами несовместимых секций влекут за собой появление на свет кретиннов, паралитиков, детей с другими физическими и умственными дефектами. Европейские расы накладывают юридические и моральные запреты на браки близких родственников. Наш народ идет дальше. Система секций автоматически лишает меня возможности жениться на более близкой родственнице, чем дочь дочери двоюродной сестры. В разных племенах разные правила, но алава очень строго соблюдают эти запреты.

Я не мог жениться на девушках из секций Булайпджан, Нангари и Билинджан. Искать мне среди них невесту было бы для Марбунггу пустой потерей времени. Они находились за желтой чертой. Но секция Нгамаянг стояла направо от нее, а в числе ее женщин была Анна Дулбан из племени вандаранг. Ей минуло пятнадцать лет, она не была замужем и не была обещана ни одному из мужчин, которые имели право на ней жениться.

— Она выйдет замуж за пибарли, — сказал Марбунггу. — Я поговорю с ее дядей.

А захочет ли она сама? И что скажу по этому поводу я, Вайпулданья? Понравится ли мне ее лицо? Ее фигура? Может, мы именно с ней особенно сильно враждовали во время нескончаемых стычек между мальчиками и девочками? Все эти сомнения для аборигена яйца выеденного не стоят. Когда для меня подобрали жену, я находился в двухстах милях от реки Роцер и только много месяцев спустя, возвратившись оттуда, узнал о переговорах, которые велись в мое отсутствие.

— Я нашел тебе жену, — сообщил мой дядя.

— Как ее зовут? — спросил я.

— Дулбан, Нгамаянг, вандаранг. — Он назвал фамилию Анны, ее «кожу» и племя.

Дулбан? Дулбан? Это та самая девочка, которая косит на один глаз? Или хромоножка? Наконец я вспомнил.

— Да, Анна Дулбан, — повторил мой дядя. — Что ты сказал?

Что я мог сказать? Все уже решили за меня. Возражать было бесполезно. Да к тому же я и не собирался возражать. В душе даже обрадовался, так как, по представлениям аборигенов, Анна была привлекательна: упругая девичья грудь, округлый живот, сильные бедра, большие глаза, выглядывающие из-под длинных ресниц, широкие ноздри, полные губы, сверкающие зубы, раскрывающиеся в неожиданной улыбке, которая без явной причины переходит в мягкий женский смех.

— Что говорит ее гарди-гарди? — спросил я.

— Он согласен, — ответил Марбунггу.

Теперь я уже был уверен, что ничто не помешает нашей женитьбе, ибо Анна еще меньше, чем я, могла выбрать себе мужа. Я знал что, независимо от того, правлюсь я ей или нет, она станет моей женой и будет рожать мне детей. А если она вдруг вздумает возражать, родные возьмут ее на прогулку, а дядя пригласит меня в лес. Он покажет на девушку и скажет: «Бери, она твоя». Тогда по закону наших предков — мунгу-мунгу — я насильно овладею ею.

К счастью, ничего подобного не произошло. Анна, по видимому, была довольна тем, что ей достался Вайшуданья из секции Бунгади племени алава.

Через несколько дней ее тетки по отцу устроили для меня лагерь в стороне от моих родителей: место для костра с запасом дров, воды и пищи и двойным одеялом, разложенным на песке.

Затем они пришли ко мне:

— Сегодня ты женишься. Вот твой лагерь.

У нас не было помолвки, обручальных колец, подвенечного платья, подружек невесты, шаферов, свадьбы и, уж конечно, шампанского.

Я не ухаживал за Анной, даже не сказал ей ни слова. Может быть, в детстве я и говорил с ней, как старший с младшей, когда она бегала с другими малышами; между нами разница в пять лет, и, даже если бы мальчики и де-

вочки дружили, мы все равно были бы в разных возрастных группах. За всю жизнь я, скорее всего, обратился к ней два или три раза, приказывая, скажем, уйти с дороги. Теперь она должна стать моей женой и жить в моем лагере, пока корробори лорккун в память умершего не освободит ее от непроизнесенной клятвы.

И все же церемония нашего бракосочетания оказалась несколько сложнее, чем могла быть. Нас и еще пять пар преподобный Норман Вудхарт обвенчал в часовне миссии по законам религии, принесенной белыми людьми.

Я посещал воскресную школу миссии и крестился в христианской церкви. После этого мне всегда было трудно примирить традиции моего народа, наши верования и ритуалы со словом божьим.

Я испытывал замешательство, да и по сей день продолжаю его испытывать. Могу ли я не верить в то, чему меня учили старейшины? Как сочетать непоколебимую веру в Землю-мать и Змею-радугу со святой троицей? Что думать о своих сородичах, которые в воскресенье молятся в христианской церкви, а в понедельник истоиво расппевают гимны на площадке для корробори?

Неужто мы все настолько меркантильны, что приняли христианскую веру в обмен на блага, которые она дает?

Если меня спросят, верю ли я в Землю-мать, я решительно отвечу «да!» Разве я не джунгайи кунапиши?

Но если меня спросят, христианин ли я, то я тоже отвечу «да!», хотя, может быть, не столь решительно.

В замешательстве я хватаюсь за ту соломинку, которая в тот миг кажется мне надежнее, хотя иногда сомневаюсь, какую выбрать. Но я знаю, что, когда меня призовет кунапиши, я немедленно явлюсь на зов и поклонюсь Земле-матери.

Мой отец в еще большем душевном смятении, чем я. В тот день, когда он в часовне миссии на реке Ропер выступил с проповедью о двенадцати коленах Израиля, о том, как расступилось Красное море — «большая вода, куда больше, чем наша река Ропер», я решил, что пора спросить его, в кого же он на самом деле верит — в бога или Землю-мать.

— Теперь я христианин, — пылко ответил отец. — Я верю, что землю, море, животных, нашу страну у реки Ропер и весь наш народ сотворил бог. Я читал Библию. Когда-то я думал, что страну алава, кенгуру и рыбу созда-

ли мои тотемы, мои «сповидения», пестрошея ящерица и джабиру. Но сейчас я так не думаю, нет, нет. Я божий человек.

— Ты высший джунгайи кунаиши,— сказал я.— Ты хранитель законов, судья и священнослужитель, ты главный руководитель обрядов.

— Да, и это тоже,— согласился он вопреки логике.— Но это совсем иное дело.

Может, он хочет жить в обоих мирах, исповедовать две религии, одной ногой стоять на небе, а другой в гулла-гулла? Не знаю, замечал ли он, как усмеваются в кулак белые люди, те, чью веру он принял, люди, многие из которых сами не верят в своего бога.

Раз мы получили благословение священника, наше бракосочетание можно считать христианской церемонией. Впрочем, мы так мало знали о боге, что вряд ли могли сознательно верить.

Во всяком случае, тетки Анны и не думали отказываться от своей роли в церемонии. При племенном бракосочетании на них лежит обязанность проводить свою племянницу к ее будущему мужу. Теперь они встретили Анну у дверей церкви и возвратились с ней, когда солнце уже садилось.

— Вот твоя жена,— сказали они мне.— А вот твой лагерь.

— Вот твой муж,— сказали они Анне.— Оставайся с ним. Оставайся с Ваджири-Ваджири, твоим супругом.

Девушки аборигенов нередко выходят замуж в тринадцать или четырнадцать лет. В таких случаях тетки разбивают свой лагерь в десяти футах от свадебного ложа, чтобы своим присутствием подбадривать молодую. Через две-три ночи, когда она свыкнется с положением, старейшины находят благовидный предлог и посылают молодоженов с поручением к родственникам, живущим на расстоянии нескольких дней пути. Можно ли порицать молодых за то, что они не спешат преодолеть этот путь, наслаждаясь примитивным свадебным путешествием и своим новым положением?

Мои тетки тоже было собрались разбить лагерь около меня, но я показал им на широкие просторы вокруг. Медовый месяц я провел так, как хотел: ушел с Анной на свою собственную племенную землю к югу от Рошер, на землю отцов, и там овладел отданной мне девственницей,

без слов, но довольный тем, что соединился с ней на том месте, где на нас смотрели духи предков.

Тогда я не верил, да и сейчас не очень-то верю, что наш первый ребенок был зачат на супружеском ложе из коры.

Я принадлежу к тотему кенгуру. Всем известно, что кенгуру создал эвкалипт — мутжу. Каждый год старейшины рода кенгуру жуют кору мутжу. Когда она превращается в кашу, они выплевывают ее и начинают петь: «Женщины тотема кенгуру пусть рожают детей».

Через несколько месяцев все женщины и в самом деле беременеют. Каждый алава верит, что оплодотворяет женщину его тотем после того, как Радуга-змея проложила себе дорогу.

В последние годы я получил медицинское образование и внимательно слушал лекции врачей, которые уверяли, что зачатие есть следствие оплодотворения женского яйца мужской спермой в процессе полового сношения. Услышь это алава, они смеялись бы до коллик в животе.

Отнюдь не все браки аборигенов заключаются так легко, как мой. У нас тоже, как испокон веков у всех народов, возникают злосчастные треугольники, главным образом потому, что по обычаю девушку обещают мужу еще до появления ее на свет.

Прежде чем жениться на Анне, я отказался от Норы Биндул — вернее, за меня отказались родственники. Между тем многие пожилые мужчины, из которых иные уже совсем почти дряхлые старики, имеют не одну, а нескольких жен.

Это пережиток тех дней, когда у нас процветала полигамия. Она и сейчас широко распространена среди андиляугва, живущих на острове Грут-Айленд. Я знал андиляугва, имевшего шесть жен, а обладателей гарема из трех или четырех женщин встречал не раз.

Полигамия — своего рода страховой полис аборигенов, избавляющий члена племени от невзгод старости. Человек, имеющий нескольких жен, может быть спокоен: ему будет кому прислуживать. А продавая или одалживая своих жен, он всегда обеспечит себя пищей и табаком.

Сейчас на реке Ронер нет полигамии, но даже среди алава сохранилось много стариков, имеющих больше одной жены. Обычно на склоне лет они женятся вторично на давно обещанной им молодой девушке, лишая ее таким

образом возможности вступить в брак с молодым человеком, который мог бы этого захотеть.

Бывает, что двое мужчин из подходящих семей хотят жениться на одной и той же девушке. У Анны, например, могло быть несколько претендентов на ее руку. К счастью, никто не оспаривал мой выбор, иначе неизбежно последовала бы кровопролитная борьба с применением копий, бумерангов и нулла-нулла.

Если в племени возникает треугольник, то мужчины дерутся, пока один не убьет другого или не ранит его так сильно, что у того надолго пропадает охота жениться. В такой драке, свидетелем которой я был, один абориген как-то копьем пробил позвоночник другому. В Центральной Австралии я видел людей из племен вайлбри и питжантжарра, тела которых были исполосованы шрамами от ран, полученных в сражениях из-за женщин.

Мужчина может также получить жену, околдовав пригланувшуюся ему избранницу. Для этого он, подобно Ромео, поет любовные песни тжарада, танцует перед ней и, произнося ее имя, плюет на маленькую символическую гуделку иррибинджи, пока женщина не поддастся гипнозу. С ней происходит то же, что с белой девушкой, которой вскружили голову знаки внимания: цветы, лирические стихи, дорогие подарки и прочие тжарада белых людей.

Применив все средства обольщения, чернокожий Лотарио крутит на веревке иррибинджи до тех пор, пока та не сломается. Подобно гаданию на лепестках ромашки: «любит — не любит», это верное предзнаменование того, что женщина готова изменить своему законному мужу. Затем домогающийся любви надевает на голову девушки ленту из коры камедного дерева. При виде ее избранница впадает в гипнотический транс. Она не сводит глаз с мужчины и становится покорной, словно глина в его руках.

— Слушай! Завтра вечером, когда выйдет луна, мы встретимся у Места лилий, — говорит он.

— Завтра вечером?

— Да.

— Когда выйдет луна?

— Да.

— У Места лилий?

— Да.

— Хорошо.

Мистическая сила женщины заставляет ее идти. Пока муж спит, она покидает его костер. Уходит так же, как девушкой пришла сюда: без воды, без пищи, в единственном ситцевом платье, которое будет носить, пока оно не истлеет. В состоянии дурмана, заглушающего ужас, который охватывает ее ночью, особенно в лесу, населенном духами, летит она на свидание. Навстречу ей от Места лилий движется тень. Не успевает мужчина произнести ни слова или дотронуться до женщины, как она уже бросается на ложе из чайного дерева, горя нетерпением отдаться человеку, еще не ставшему ее мужем.

Утром, вместе с пылающим от оскорбления солнцем, над ними нависает угроза возмездия. Мужчина и женщина знают закон мунгу-мунгу: тот, кто похитил чужую жену, до захода солнца должен предстать с ней перед племенем. Таков закон.

И да будет Земля-мать милостива к ним!

Он, ставший ночью ее господином, как и подобает, идет впереди; она, женщина, шагает сзади троюю покорности. Они выходят из-за чайных деревьев, провищившиеся, но не согнувшиеся под тяжестью своей вины. Они знают, что нарушили закон племени, и смиренно ждут потока ругани, который сейчас на них обрушится. И копьа, и бумеранги, и нулла-нулла, и камни...

Женщины кидаются на женщину, мужчины — на мужчину. В него бросают копьа и палки — изворачивайся, защищайся из последних сил, если хочешь остаться цел и невредим! Женщину колют заостренными палками для копки ямса, бьют нулла-нулла, таскают за волосы. Но она, как и все женщины аборигенов, умеет обороняться, отчаянно отбивается и отругивается.

Когда запас оружия и ругательств у нападающих иссякает и сами они устают, женщину, покрытую грязью, истерзанную, истекающую кровью, возвращают «законному мужу», чтобы она испытала на себе его личный гнев, а «любовнику» приказывают:

— Убирайся! Забирай свое барахло и убирайся!

Уйдет он или нет, зависит лишь от силы его чувства и бесстрашия. Трус удалится немедленно, чтобы избежать дальнейших преследований, а человек решительный останется в пределах лагеря. Чтобы его не могли окружить, после наступления темноты он переходит с места на место, стараясь улучшить момент и подать своей из-

браннице знак: «Сегодня на Месте крупного ямса!» Ему нужно только дождаться, чтобы в ответ она еле заметно кивнула головой.

В этот вечер на Месте крупного ямса они ждут луны.

— А теперь пойдём,— говорит мужчина, когда луна выходит.— Пойдём в другое место, подальше от племени. Мы не вернёмся сюда никогда.

Сердцем она принадлежит ему, но родина её здесь.

Сердцем он принадлежит ей, но родина его здесь.

Здесь, на земле предков, находятся их тотемы.

Здесь её мать.

Здесь его дядя.

Вся их жизнь здесь, неразрывно связанная тысячами уз с жизнью племени.

В «другом месте» живут покойники, живые покойники, покинувшие своё племя.

Бедная моя страна!
Бедная моя страна!
Бедный я!
Бедный я!
Дайте мне табаку,
Дайте чаю!

Он бормочет песню людей, лишившихся своего племени, панихиду по несчастным.

— Я готова,— говорит она.— Иду.

Идут они долго. Идут, идут... Отдыхают... Снова идут, идут... Отдыхают... И опять идут, идут... Отдыхают.

Усталые. Совсем без сил. Несчастные.

Несчастные, тоскующие по своей стране, но утешающие друг друга словами песни:

Ведь ты со мной,
Опорой служишь мне.

В глубине души они сохраняют надежду, что стоит им пересечь равнину за тихими водами и зелеными лугами, как тени их будут возвращены на реку Ропер, откуда они навсегда были изгнаны при жизни.

Они идут долго-долго и никогда не возвращаются. Закон велит возвратиться в первый день после побега. Они подчинились закону. Но закон ничего не говорит о втором дне. Теперь им не грозят преследование и месть племени. В конце концов они придут на ферму или на шахту, где за свой труд смогут получить еду, табак и огненную

воду... Но платить придется безграничным унижением и отказом от привычного образа жизни. И женщина поступится своим телом, а мужчина — своей душой.

Вступление в брак регулируется у нас родственными отношениями по линии отца. Соблюдать эти правила обязательно. Но они имеют и свои преимущества.

Мужчинам всех племен, живущим на реке Ропер, не разрешается до и после вступления в брак смотреть на свою тещу или разговаривать с ней! Это берегает нам массу энергии — ведь теща есть у каждого мужчины чуть ли не с момента его появления на свет!

Древние законодатели установили этот закон скорее всего после особенно бурного периода разлада с тещами. Эти же мудрецы настояли на том, чтобы запрет действовал на протяжении всей жизни человека. Он и сейчас тщательно соблюдается²⁹.

Правда, этот закон, подобно другим, имеет лазейку: теща вправе обращаться к своему зятю, он же должен отвечать ей кивком головы, отвернув лицо в сторону.

В повседневной жизни алава принимает все меры предосторожности, чтобы не столкнуться лицом к лицу с тещей. Я принадлежу к числу избранных, которым было предоставлено это право, да и то после того, как мужчины заставили женщин отказаться от сопротивления.

Произошло это так. По долгу службы фельдшера я сопровождаю белых врачей в отдаленные миссии и селения и помогаю их титанической борьбе против туберкулеза, проказы, глистов и других заболеваний, передаваемых в моем народе из рода в род.

В самом начале работы я понял, что в родных местах на реке Ропер окажусь в затруднительном положении. В самом деле: если я не смогу общаться с женщинами из семьи моей тещи — а запрет касается всех ее сестер, — как же я возьму у них мокроту на анализ или выясню, чем они болели в прошлом?

²⁹ Взаимное отчуждение тещи и зятя — одна из форм налагаемых обычаям ограничений в отношениях к родне жены или мужа — широко распространено не только в Австралии, но и у многих других народов. Обычай этот пытались объяснить различным образом. Существует мнение, что он возник как мера предотвращения половых связей между лицами, которым, согласно нормам обычного права, запрещено вступать в такие отношения.

Я рассказал об этом старейшинам, они поговорили с женщинами и убедили их снять для меня табу на время исполнения мною служебных обязанностей.

Когда я появился в лагере, теща с сестрами подошли ко мне. Я по привычке, чтобы не видеть их, повернулся к ним спиной. Тогда одна из женщин на секунду закрыла мне глаза руками:

— Как фельдшер, ты можешь говорить с нами и смотреть на нас,— сказала она.

Я открыл глаза и увидел мою тещу и ее родственниц. Большую часть своей жизни я прожил в одном лагере с ними, а как они выглядят, не знал. Я и теперь-то едва осмеливался глядеть им в глаза — так сильна была надо мной власть старого закона. Смущение сковывало меня, я с трудом заставлял себя не отводить взгляд, отвечая на вопрос, и никак не мог отделаться от затаенной мысли: «Мне нельзя их видеть!»

Но наконец мы улыбнулись друг другу. Так, благодаря уступчивости женщины, удалось преступить еще одну древнюю традицию, может быть более древнюю, чем заповедь господа бога Самуилу: «Не смотри на лик его».

Другое преимущество племенного брака в том, что развестись аборигену даже легче, чем мусульманину, которому достаточно три раза произнести: «Развожусь с тобой, развожусь, развожусь!», чтобы стать свободным. Абориген, который скажет своей жене одно-единственное слово: «Уходи!», в тот же миг становится холостым. Но женщины не имеют права на развод, кроме тех редких случаев, когда их мужья оказываются неисправимыми донжуанами.

Супружеская измена — основная причина всех разводов. Я ни разу не слышал, чтобы мужчина оставил свою жену из-за того, что она уродлива, бесплодна, сварлива, нечистоплотна, бесхозяйственна или, как говорил герой одного американского фильма, холодна душой и телом.

Если есть дети, женщина, как правило, не покидает мужа навсегда. Я знал женщин, которые вместе со своим новым избранником возвращались жить к бывшему мужу, лишь бы не расставаться с детьми. Я знал также детей, которые относились к любовнику матери как к отцу, но это исключение. Обычно сыновья и племянники отвергнутого супруга встают на защиту его поруганной чести. Двадцать лет назад они бы убили и женщину и ее

любовника. Теперь, познакомившись с правосудием белого человека, они ограничиваются лишь тем, что избивают мужчину палками.

Но милосерднее ли это? Не знаю. Палками можно так отделать человека, что человеком он уже никогда не будет. Я видел таких живых мертвецов, отличающихся от трунов только тем, что их сердца не перестали биться.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я табу не только для моей тещи с реки Ропер, но и для всех моих тещ в большинстве австралийских племен — у андиляугва на острове Грут-Айленд, малак-малак на реке Дейли, варраманга в Теннантс-Крике, вайлбри и пинтуби на западе, в пустыне Гибсона, аранда, питжантжарра и лоритжа в районе Алис-Спрингса. Мне не положено смотреть на моих тещ и их сестер или разговаривать с ними, если только я не нахожусь при исполнении служебных обязанностей.

Как может мужчина иметь больше одной тещи?

Для этого ему надо родиться аборигеном и жить по законам племени.

У меня также множество отцов и матерей, а теток и дядьев, сестер и братьев больше, чем у арабского шейха.

А все это потому, что наши племена разделены на секции. Если я путешествую по стране, то даже в чужих краях нахожу родственников.

Прихожу я, скажем, к реке Дейли. Человек из племени малак-малак спрашивает меня:

— Ты из какой «кожи»?

— Бунгади.

— А, — говорит он. — Значит, ты мой дядя.

И он показывает мне моих отца и мать и прочих родственников, которые, пока я здесь, будут обо мне заботиться.

Когда я был в Центральной Австралии, один человек поинтересовался, кто я такой.

— Вон твоя семья, — сказал он, выслушав мой ответ, и показал на людей, которых я раньше в глаза не видел.

Я подошел, представился: «Джагамара» — так в этой местности называют себя Бунгади, — и меня тут же усадили в общий круг у костра.

После взаимных приветствий мне рассказали, на каких женщинах я имел бы право жениться, а каких должен избегать, так как они относятся к роду моей тещи. В чужой стране я попал в родную семью, хотя не понимал этих людей. Мы объяснялись на ломаном английском и на языке знаков, общем для всех племен.

Чтобы спросить: «Кто это? Что это? Где? Что случилось?», мне достаточно поднять большой и указательный пальцы и повернуть наполовину в ту или иную сторону кисть руки. Эти знаки понятны аборигенам всех племен. Я могу, дотронувшись до рта, попросить есть, а надув одну щеку, — пить... Я в состоянии изобразить руками почти всех животных и птиц Австралии.

К помощи пальцев прибегают и люди, имеющие общий язык. Это избавляет их от необходимости разговаривать и к тому же лишает злых духов возможности подслушать беседу.

Аборигены верят также в телепатию и в то, что судороги — одна из форм общения между людьми.

Если у меня дергается правое плечо — значит, обо мне думает мой отец. Если судорога не прекращается, я начинаю опасаться, не болен ли он.

Мое левое плечо представляет дядю Стэнли Марбунгу, потому что на этом плече он носил меня, когда я был маленьким.

Моя правая грудь принадлежит матери, бедра — жене, икры — братьям и сестрам, правое веко — зятьям, левое — двоюродным братьям.

При сокращении мышцы я стараюсь сильно растереть ее рукой. Иногда при этом поскрипывает локтевой сустав — верный признак того, что я скоро увижу человека, представляемого сократившейся мышцей, или получу известие о нем. Со мной это происходило так часто, что не могло быть случайным совпадением. У нас нет выражений типа: «Легко на помине», мы не говорим: «Как странно, только я о тебе подумал, а ты тут как тут». Мы выражаемся определеннее: «Я тебя ждал».

Когда я прихожу в чужое племя, старейшины прежде всего спрашивают, проходил ли я инициацию. Я отвечаю, что да, проходил. Тогда они рассказывают мне о своих законах и церемониях, объясняют, какие у них действуют табу, показывают участки, где нельзя охотиться, деревья и водоемы, считающиеся неприкосновен-

ными. Так белые предупреждают своих охотников, где находятся заповедники.

Куда бы я ни пошел, на территории любого племени, а особенно на моей родной земле вдоль реки Ропер, есть священные деревья. Я не могу бросить бумеранг в птицу, сидящую на ветвях такого дерева, лакомиться диким медом из его дупла, пользоваться его корой или соком, иначе я нарушу табу, моя тень потемнеет и в один прекрасный день меня найдут убитым.

Я рассказывал об этом белым, включая миссионеров. Они только смеялись над нашими глупыми предрассудками. Но теперь, когда я знаю многие христианские притчи, могу им ответить. Разве не сказал господь бог Адаму: «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела... И сказал Господь Бог жене: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты... ел от дерева... проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей».

Что ж глупого в том, что мы слепо чтим свои священные деревья? Или только дураки не нарушают данных им заповедей?

Господь бог обратился к Адаму со своими словами около пяти тысяч лет назад. А священные деревья существовали у аборигенов за десять тысячелетий до рождения Христа!

Есть у нас и другие табу. После обрезания или в период беременности моей жены я не должен есть жирных гуан, черепах, индюшек, эму и змей.

Убив гуану, я ощупываю ее спинку. Если под моими пальцами перекатываются шарики жира, я отдаю добычу другу, который в это время не соблюдает табу бука.

Когда я бука, мне нельзя, как обычно, разбить кость ноги кенгуру и высосать из нее сладкий мозг. Я верю, что, если нарушу табу, у меня родится ребенок с каким-нибудь физическим изъяном, искривленной ногой, например, или с размягченными костями.

У меня шестеро детей, но мы с женой никогда не говорили о ее беременности. Эту тему полагается обсуж-

дать только с женщинами. Я узнавал о ее состоянии, лишь когда оно становилось явным. Предстоящие роды меня как бы не касались, это было делом женщины племени.

По нашим обычаям отец отрезает у новорожденного пуповину, покрывает ее красной охрой и посылает отдаленным родственникам как неопровержимое доказательство рождения ребенка.

Так поступил и я, когда родилась наша первая девочка — Филис Мутукутшина, и мой дядя послал пуповину родственникам, жившим за триста миль от нас, у Ньюкасл-Уотере. Несколько недель спустя от них прибыли подарки для новорожденной и матери: волосяные пояса, браслеты из меха опоссума, головные повязки из перьев. Но цивилизация изменила этот порядок: остальные пять моих дочерей — Рода Булука, Коини Нгамиримба, Мэвис Ванджимари, Маргарет Габадабадана и Мириам Джардагара родились в больнице под наблюдением врачей или опытных акушерок, которые без меня перерезали пуповину.

Кроме определенных деревьев священными считаются некоторые места, где во Времена сновидений проходили наши тотемные герои. Там запрещено охотиться. Это большей частью невысокие холмы, которые легко узнать, вернее, трудно не узнать. Осквернение такого места, преднамеренное или случайное, более серьезный проступок, чем святотатство у христиан. Это одно из немногих преступлений, караемых мулунгувой — палачом племени. У алава он выполняет ту же роль, что грозный кадайтжа у питжантжарра.

Алава, осквернивший священное место, знает, что за это кто-нибудь погибнет от руки мулунгувы — сейчас или через несколько поколений. Может быть, сам нарушитель избежит кары, но она настигнет его детей, детей его детей или других родственников.

До конца дней своих терзается он муками, не зная, когда и где мулунгува выполнит свой долг. Мулунгува может даровать ему жизнь и убить его родственника, которого в момент нарушения табу даже не было еще на свете. Господь бог руководствовался той же идеей, когда предупредил Моисея, что грехи отцов падут на детей и на детей детей вплоть до четвертого колена.

Возмездие племени начинается с того, что пострадав-

ший род обращается к мулунгуве с обычной в таких случаях жалобой:

— В день нашего отца Гамаранг срубил дерево на священном холме Валинжи и забрал дикий мед. Он должен быть наказан.

И мулунгуве вручают священный жезл гулингу и волосяной пояс, что равносильно передаче палачу приказа о приведении в исполнение смертного приговора. Отказаться мулунгува не может под страхом смерти.

Я помню, как после одного особенно вопиющего нарушения табу было решено, что должны умереть двое родственников виновного. Одной из жертв была выбрана женщина. Мулунгува нырнул в билабонг, где она выкапывала корни лилий, утащил ее под воду и там переломил шею. А брата несчастной «отпели».

Два года я наблюдал, как этот человек становился идиотом (мне это чувство пришлось испытать лишь в течение нескольких часов): лицо его, искаженное страхом, теряло свой облик, он произносил нечленораздельные звуки, изо рта у него шла пена. Однажды утром он вскрикнул и повалился замертво, заплатив жизнью за проступок, которого ни он, ни сестра не совершали.

В цивилизованном обществе убийца, находящийся на службе закона, — палач, который надевает на шею осужденному петлю и выбивает из-под его ног опору, включает рубильник электрического стула, бросает в стакан крупинку цианистого калия или опускает нож гильотины, — получает жалованье от правительства. Мулунгуву же вознаграждает оскорбленный род после того, как он возвратит гулингу и докажет, что выполнил свою миссию.

Это первое звено в цепи возмездия, действующего по принципу «долг платежом красен», или «как аукнется, так и откликнется».

Родственники убитого начинают грозить:

— Все равно доконаемся, кто убил сестру или брата, тогда головы полетят.

И пока корробори кунапиши, ябудурава или банбурра не снимет все обиды, они будут стараться выяснить, кто выступал в роли мулунгувы и какой род направлял его руку.

Это нелегко. Ни один человек из племени не знает, кто мулунгува, кроме старейшины, которые его назначают и никогда не выдадут. Но аборигены коварны и изобрета-

тельны. Даже когда «отпетый» проходит все стадии от психического расстройства до безумия, его непрерывно расспрашивают, чтобы установить по ответам имя мучителя. Задача усложняется тем, что даже упоминание имени этого человека может привести в ужас обреченного, и он не осмеливается произнести его.

Тем не менее родные ни днем ни ночью не отходят от «отпетого», внимательно прислушиваются к каждому произносимому им звуку, уговаривают его, что бояться нечего, и без конца задают наводящие вопросы:

— Почему ты хочешь умереть?

— Кто желает твоей гибели?

Человек может еще долгие месяцы жить, но рассудок он теряет быстро, поэтому ответы надо получить как можно скорее, сразу же после того, как тот попадет во власть злых чар.

Если прямые вопросы не дают желаемых результатов, прибегают к косвенным:

— Какая страна тебе нравится?

— Какой тотем у того, кто «отшел» тебя?

— Из какого билабонга ты хочешь испить воды?

Вопрос о воде может дать ключ к разгадке, если несчастный еще в состоянии говорить членораздельно.

— Явурвада!

Ага! Он хочет воды из Явурвады! Явурвада находится в стране валинжи, а валинжи принадлежат к... Да, но нужно удостовериться, что это действительно так.

Родственники говорят:

— Явурвада слишком далеко. Чтобы принести оттуда воды, надо пройти долгий путь.

— Явурвада! Явурвада!— Произнеся один раз это слово, «отпетый» упорно твердит его.

— Нет! Вот тебе вода из водоема миссии.

— Явурвада! Явурвада!

Хорошо... Один из родственников делает вид, будто идет на Явурваду, а на самом деле приносит воду из водоема миссии.

— Вот тебе вода из Явурвады,— говорит он.— Пей!

Обреченный жадно пьет, что равносильно обвинительному заключению против тех, кому принадлежит земля у Явурвады. Родственники удовлетворены: они выследили род, замысливший убийство, и помог им сам «отпетый», попросив воды. Теперь он может умереть спокойно.

но. Они знают, в какую группу людей следует целить свои копья, чтобы отомстить за убийство. Но один важный вопрос еще остался без ответа: кто мулунгува?

Пусть копья пронзят его дух и тело покроется ужасными ранами!

И это пожелание сбывается.

Я тому не раз бывал свидетелем.

Когда тело покойника готовят к погребению, кто-нибудь из его близких — дядя, внук или ближайший друг — вдувают дым ему в ноздри и глаза, а в уши вставляют затычки из чайного дерева.

Дым вызовет в глазах слезы и помешает духу умершего подсматривать за родственниками, не даст ему вынюхивать их, а затычки в ушах — подслушивать.

Все аборигены боятся, что тени умерших вернутся и будут их преследовать. Они горячо умоляют покойника:

— Итак, прощай старик. Только не возвращайся!

— Ты покидаешь нас. Не возвращайся!

— Со временем мы все там будем. Не возвращайся, старик!

— Жди нас терпеливо. «Другое место» — хороший лагерь, старик. Смотри не возвращайся! Делай что хочешь, но не возвращайся!

Волосы покойника срезают и прячут. Впоследствии ими воспользуются для розысков мулунгувы. Труп заворачивают в полоски коры чайного дерева и эвкалипта, чтобы вороны и ястребы не расклевали его в гулле-гулле. Здесь он будет находиться два года. За это время мясо сгниет и останутся только белые кости.

Их собирают, покрывают красной охрой, кладут в полое бревно и несут в пещеру или на берег билабонга в стране умершего.

Родичи, которые несут бревно с костями, снова умоляют тень умершего:

— Теперь ты лежишь на красивой поляне среди чайных деревьев. Я до-о-о-лго нес тебя обратно в родную страну, так сделай же что-нибудь и для меня. Наполни билабонг липиями, перенеси дикий мед поближе к лагерью, сделай валлаби жирными, кенгуру ручными, а воду в реках прозрачной, чтобы мы видели баррамунди. И пошли нам, старик, хороший урожай.

Переноска костей и сопровождающее ее корробори называются лорркун. Он служит сигналом для вступления

ных траурных воплей, не похожих на звуки, производимые людьми: все женщины семейства умершего, не переставая, истерически воют.

Хотя покойник скончался два года назад, они теперь наносят себе удары ножами и камнями, полосуют тело колючей проволокой.

Ранения должны заставить женщин кричать искренне, и, безусловно, они достигают своей цели. Если она распалась недостаточно, то, чтобы усилить скорбь, ударяет себя по голове бумерангом. Некоторые предпочитают пользоваться лезвием топора или бьются головой об землю.

— Ва-а-а-ах! Ва-а-а-ах!

— Э-э-э-э-эх! Он был моим братом!

— А-а-а-а-ах!

— О-о-о-о-а-а-ах! Почему они убили его, а не другого? Он был моим братом, а-а-а-а-а-а-э-эх!

Но плакальщицы могут замолкать и возобновлять свои стенания, как если бы они регулировали их при помощи выключателя. Как-то раз одна женщина прервала завывания на самой пронзительной ноте и попросила у меня сигарету.

— Э-э-э-э! Дай мне сигарету!

Я закурил и передал ей сигарету, плакальщица сделала несколько затяжек и возвратила ее мне.

— Э-э-эх! Спасибо. А-а-а-а-ах! Ва-а-а-э-эх!

Все люди племени обходят далеко кругом гуллу-гуллу с телом мертвеца. Они боятся тени покойного, ожидая от нее любых козней. Наши духи — джумджум — не менее активны, чем те, которые посещают спиритические сеансы европейцев.

Но после того как мулунгува убьет человека, дядья и двоюродные братья убитого должны на несколько часов победить свой врожденный страх и установить имя убийцы.

На следующий день после похорон они разрисовывают свои тела белой и желтой глиной и привязывают к ногам, бедрам и туловищу зеленые кусты, так что те, возвышаясь над головами, придают им сходство с движущимися деревьями.

На закате солнца, в тот самый миг, когда светило исчезает из виду, они бесшумно, осторожно, двигая вперед кусты, крадутся к гулле-гулле.

— Берегись этой тени,— шепчут родственники убитого.— Смотри, нет ли там мулунгувы. Тихо, ребята! Ступайте аккуратнее. Эй, парень, убей муху, скорее! Или ты хочешь, чтобы до тени дошел твой запах? Следите за мухами, иначе нас обнаружат.

В жизни племени нет больше подвига, чем преодолеть страх и пойти с товарищами к гулле-гулле. Эти люди боятся духов и все же специально идут на поиски одного из них.

И ищут они дух не умершего, хотя он тоже скорее всего бродит поблизости, а мулунгувы. Убитый им человек взял его тень с собой в гуллу-гуллу. Это, естественно, только усиливает их страх.

Все смельчаки приближаются к погребальной платформе. Не скрипят несмазанные петли, не шумит в соснах ветер, не захлопывается с грохотом окно, невидимая рука не открывает двери, но можно ожидать все эти трюки детективного фильма и к тому же в натуральном виде. Кругом бродят духи и привидения!

— Что это там?— шепчет один из пришедших.

— Дух!

Как хочется убежать! Это желание одолевает всех, но никто не решается быть первым, зная, что станет посмешищем для племени. Его именем назовут дерево, стоящее на людной тропе, и после этого даже само название местности, где оно находится, будет звучать насмешкой. И все остаются на своих местах.

Дух появляется снова. Легкая невесомая дымка оседает на гулле-гулле.

— Мулунгува! Мулунгува!

Услышав произнесенное шепотом восклицание, человек с вумерой прижимает к ее острию древко своего копья и готовится метнуть его в тот самый миг, когда кажется, что дух вот-вот исчезнет.

— Стреляй! Стреляй! Скорее!

У-ши!

Вумера подается вперед, толкает, подобно рычагу, конец древка, и копьё вылетает, прежде чем дух успевает скрыться из виду. Оно пронзает невидимую бескровную плоть, слышится треск костей, удивленный и гневный стон. Мы не сомневаемся в том, что бесплотный дух можно ранить и убить.

— Попал! Попал! Попал в мулунгуву! В убийцу, ко-

торый «отпел» нашего сородича и переломал шею его сестре! Куда попало копьё?

— Под правую грудь,— отвечает стрелявший.

— А где вышло?

— Около левой почки.

— Ну что ж, посмотрим... Тот, у кого под правой грудью и на левой почке раны,— мулунгува. Его дух ранен, и сам он должен умереть.

В эту ночь в лагере достают волосы и над ними произносят заклинание:

— Мы произвели дух мулунгувы. Ты, его джумджум, сделай так, чтобы у человека появились раны. До лорккуна надо сравнять счет.

Прихрамывающая тень мулунгувы движется к лагерю. Дядья и двоюродные братья покойного выходят из засады и осыпают тень копьями. Снова слышно, как сталь ударяется о плоть и с хрустом пронзает кости. Снова раздаётся стон духа, прежде чем он исчезает. Волосы покойного сделали свое дело — выманили дух мулунгувы отправиться на их поиски. Теперь родственники покойного внимательно присматриваются к людям из рода, который живет в том же лагере: а нет ли у них ранок на груди и около почек? Они знают, что возмездие не оставит себя ждать.

Два дня спустя на Месте муравьев мужчина из племени алава отбивал топором подкову, найденную им в загоне, где жеребят приучают к поводьям. Ударяя по куску железа, лежавшему на другом топоре, он склонялся над своей работой, так что на блестящем от пота теле четко вырисовывались все мускулы... Мужественную красоту его нарушал только маленький шрам около левой почки.

— Что это у тебя?— спросили его.

— Напоролся в загоне на колючую проволоку,— ответил он.

В этот момент он с размаху опустил топор на железо, но удар пришелся на край подковы, и она, отскочив, ударила его под правую грудь. Мужчина, едва взглянув на кровоточащий порез, продолжал работать.

Но через три недели он умер.

Я слышал, как медсестра миссии передавала в Клонкарри радиограмму Летающему Доктору:

— Поступил больной с симптомами столбняка: кон-

вульсии, челюсти сведены, сильные боли. Поранился о кусок ржавого железа, лежавший в конском навозе.

Санитарный самолет не успел помочь мулунгуве. Он скончался в страшных муках: тело его извивалось в судорогах, лицо стало неузнаваемым, глаза вылезали из орбит от невыразимого ужаса.

Теперь, получив медицинское образование, я могу с полным знанием дела сказать, что история болезни подтверждает диагноз, поставленный сестрой. Меня не удивляет, что, по ее мнению, он получил инфекцию от куска железа, которым поранился, и умер от столбняка. Да и откуда белая женщина могла знать, что он был мулунгува и что смельчаки из племени алава пронзили его дух копьем? Откуда могла она знать, что точное расположение двух гноящихся ранок ее пациента еще до их появления было предсказано людьми из рода Гамаранг, которому он причинил зло! А если бы даже она узнала, то разве не сказала бы, что это всего-навсего предрассудки дикарей?

Иногда опечаленные родственники не могут найти дух мулунгувы.

Тогда на помощь призывают племенных детективов. Они не ищут самый дух, а по каким-то неуловимым признакам стараются установить его имя.

Если убитый похоронен не на гулле-гулле, а в земле, что бывает реже, они, едва забрезжит рассвет, маскируясь кустиками и соблюдая всяческие предосторожности, подкрадываются к могиле и тщательно ее осматривают в поисках сведений, которые подскажут, какие «сновидения», то есть какой тотем, у мулунгувы и как его зовут.

Алава верят, что на могиле каждого убитого непременно есть какие-то приметы, выдающие убийцу или его тотем.

Если бы я был мулунгува — слава Земле-матери, этого никогда не случилось! — детективы обнаружили бы что-нибудь, имеющее отношение к моему тотему, — след кенгуру или клочок его шерсти. Но кенгуру — «сновидение» многих алава, значит, чтобы обвинить меня в преступлении, требуются дополнительные сведения, например след на вершине холма, подобно указателю, направленный в сторону моей племенной территории, или символ одного из моих второстепенных «сновидений» — может быть,

зигзагообразный отпечаток молнии. Тогда людям, владеющим методом дедуктивного мышления и умеющим ориентироваться по данным, которые заменяют им отпечатки пальцев, пятна крови, человеческие волосы и микроскопы, нетрудно сделать необходимые выводы.

Они выносят приговор:

— Знаки указывают на тотемы — кенгуру и молнию, а также страну Ларбарянджи. Имя мулунгувы Вайнулданья.

Затем они уничтожат следы, которые помогали им в поисках, а потом и меня. Принятое раз решение никогда не меняют: детективы не ошибаются.

Как появились знаки? Каким образом нашим детективам удастся каждый раз найти виновного?

Ответ крайне прост. Ночью дух убитого встает из могилы и оставляет знаки для детективов. Он знает, кто убийца, и хочет известить своих родных.

Вам кажется странным, что мы руководствуемся такими приметам? Ну, а как же около двух тысяч лет назад мудрецы Востока по звезде нашли скромный хлев в Вифлееме?

Почему странно, что мы руководствуемся знаком, изображающим молнию, если сам Христос велел своим последователям следить за молнией, которая сверкнет на востоке и предскажет его второе пришествие?

Мы, поклоняющиеся Земле-матери, верим в то, что нам тоже даны знания.

Можете говорить, что мы язычники.

Можете говорить, что мы темные люди.

Но не забудьте добавить, что мы верим в слово, которое никогда не было написано, в слово, которое со Времени сновидений, за века до Христа, передается без пера и без чернил из уст в уста поколениями людей в сотнях тысяч церемониальных песен, в языческих притчах; в слово, которое помогает нашим судьям отыскать среди нас продов.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Как только мулунгува узнает о своем предназначении, он покидает племя и становится добровольным изгнанником.

Он не общается со своим народом. Даже имя его преда-

ется анафеме и редко упоминается кем-либо, кроме старейшин.

Он живет, как подобает жить палачу: один, на отлете, скрывая в тайне свое гнусное ремесло, прятаясь в кустах, пока не настигнет жертву и не освободится тем самым от связывающей его клятвы.

Но как может скрываться человек, живущий в обществе, где каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок — искусный следопыт?

Это легче, чем кажется с первого взгляда.

Мулунгуве помогает институт тайных послов — гагаваров, которые часто в течение многих недель, а то и месяцев выполняют официальные поручения племени.

Человек, назначенный гагаваром, может исчезнуть из своей семейной группы, не вызывая подозрений. Это как бы постоянная выездная виза, паспорт в страну забвения, превосходное укрытие для человека, которому старейшины поручили привести приговор в исполнение.

Томми Вурурума, полусленой беззубый рембаррига, исполняя обязанности гагавара, получил широкое признание как своего рода «Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций» австралийских племен. По поручению аборигенов с реки Ропер, в том числе алава, он отправился с деликатной дипломатической миссией в чужие земли и целый год отсутствовал в родном краю.

Ему надо было выяснить, каким образом церемониальные волосяные пояса и перья, используемые на священных празднествах кунашши и ябудурава, попали к живущим в западной части Арнемленда гушвингту, маунг и ивайджа, которые не имеют на них никакого права.

Выбор пал на Томми, потому что он владеет многими диалектами, да и вообще человек выдающийся. Этот дипломатический представитель, чью наготу прикрывала только нарга, не имевший портфеля и котелка, даже рубашки и ботинок, за год проделал, большей частью пешком, около тысячи миль, добывая пропитание охотой.

Церемониальные принадлежности не имеют цены. Их нельзя купить за деньги, бумажные или металлические, и даже за драгоценные камни. Каким-то чудом ими завладели племена, не соблюдающие кунашши и ябудурава, — это равносильно тому, как если бы булава из палаты общин оказалась в советском парламенте. Нужен был искусный дипломат, чтобы вызволить их обратно.

Такими и подобными поручениями может маскироваться мулунгува.

Он просто говорит родным: «Я гагавар», собирает на следующее утро вещи, на виду у всех готовится к дальнему путешествию и исчезает.

Затем мулунгува скрывается в лесу. Он живет один и всячески старается избежать чужих глаз: уничтожает свои следы, вещи прячет в пещере, чтобы они не выдали его присутствия и не помешали ему в случае необходимости немедленно уйти.

С собой он носит только кошке и бамбуковую трубку, через которую пьет из билабонгов. Это избавляет его от необходимости нагибаться к воде. Поэтому он не виден другим мулунгувам, которые, возможно, разыскивают его.

Постепенно он впадает в транс и помнит только, что надо быть крайне осторожным и выполнить приказ старейшины — убить, когда время отведет от него подозрения.

Пищу свою мулунгува ест полусырой — из страха быть замеченным не разводит большого костра, на котором ее можно как следует приготовить. Он выбирает такое топливо, которое вспыхивает и гаснет, едва успев подрумянить мясо, а потом зелеными ветками тщательно заметает все свои следы. Ни одна домашняя хозяйка, трясущаяся над паркетом, не уничтожает так ревностно отпечатки ног на блестящем полу.

Он живет, как дикий зверь: входит в воду в утренних или вечерних сумерках, вздрагивает при каждом звуке, все время оглядывается и прислушивается, никогда не спит там, где он ест и пьет, и даже не имеет одеяла для защиты от зимнего холода. Его непрестанно гложет одна мысль: он должен убить свою жертву, убить так, чтобы не навлечь на себя подозрений.

Такого человека очень точно характеризует слово «мулунгува», означающее «один-одиношечек».

Я, охотник, много часов провел в лесу и знаю, что можно быть одному, не испытывая одиночества. Но я никогда не понимал, как можно обречь себя на одиночное заключение в тюрьме без стен — неизбежный удел каждого мулунгувы. Если бы меня спросили, что я считаю самой большой своей удачей за годы, проведенные в племени, я бы, не колеблясь ни секунды, ответил:

— То, что старейшины ни разу не назначили меня палачом.

Это может еще произойти, хотя тому мешают два обстоятельства: я живу в Дарвине и занимаю пост джунгайи. Тем не менее я не могу избавиться от мысли, что когда-нибудь выбор старейшины падет на меня, и стараюсь не думать о том, что, может быть, тот или другой из моих лучших друзей уже выполнил свой долг.

Мой отец был однажды назначен мулунгувой. Ему вручили кувшин с ядом, чтобы он отравил своего сородича. Барнабас отказался от поручения и остался жив. Не знаю, что его спасло — то ли положение главного джунгайи, то ли смелость.

Вместе со Старым Томми, которого отец должен был отравить, он предстал перед старейшинами.

— Старый Томми! — сказал он. — Я не зря тебя привел. Люди затаили обиду и хотят твоей смерти. Вот кувшин с ядом, приготовленный для тебя... Я поставлю его посередине, пусть все видят. По-моему, Старый Томми не сделал ничего дурного. Не знаю, почему люди хотят его смерти. А вы знаете?

Может, кто и знал, но все промолчали.

— Мы все один народ, — продолжал мой отец. — Я не убью этого человека. А если вам нужна моя жизнь — вот она, берите. Пусть один из вас даст мне яду, чтобы все знали, кто меня убил.

Никто не тронулся с места. Наконец один старейшина сказал:

— Это хорошо. Ты сказал правильно. Вылей яд из кувшина.

Старый Томми прожил много лет и умер своей смертью, а мой отец здравствует и поныне. Но не приходи он своевременно к старейшинам, его наверняка настигла бы смерть.

Сейчас я гражданин Австралии, не стесненный какими-либо ограничениями. Я имею право участвовать в федеральных выборах. Я сам себе хозяин, могу находиться где хочу. Сижу ли я после наступления темноты дома или пью вино в загородном ресторане — полицейскому до этого нет дела, не то что когда-то.

Но разве я не подвластен, как и мой отец, племенным законам? Разве мое гражданство лишает старейшину права диктовать мне свою волю? Если они позовут меня, должен ли я идти? Если они скажут: «Ты мулунгува и убьешь нашего врага!», должен ли я сбросить с себя

одежды цивилизации и совершить по их приказанию убийство из-за угла?

Разве я не джунгайи на празднике кунашиши?

Разве я не посвящен в тайны алава?

Разве я не принадлежал к племени до того, как получил гражданство, или не был язычником раньше, чем христианином?

Не должен ли я поэтому откликнуться на любой призыв, обращенный ко мне?

Это одна из проблем, которые волнуют мой ум: как примирить в себе старое и новое? Мне пока не приходилось этого делать. Я живу за четыреста миль от реки Ронер, работаю в больнице, и вряд ли жребий падет на меня. Но, если вернусь к своему племени, я буду не менее уязвим, чем другие, и может настать момент, когда мне придется быстро решать — навлечь ли гибель на себя или самому стать убийцей. Нарушу ли я законы своего племени ради чуждых мне законов?

Не знаю.

Но я рад, что пока мне не пришлось принимать решение.

Я буду еще больше благодарен моему тотему — кенгуру, если он и впредь сможет уберечь меня, когда в племени алава старейшины будут выбирать палачей.

Мулунгува, убивший человека, не может тут же возвратиться к племени. Появись он сразу после его смерти, это вызовет подозрения. Он еще много недель и месяцев продолжает жить один, пока не убеждается в том, что теперь уж никто не покажет на него пальцем. Тогда он убирает копьё, вынимает припрятанные вещи и как ни в чем не бывало возвращается к своей семье. Точно так же английский палач Альберт Пьерпойнт, выполнив служебные обязанности у виселицы, присоединялся к друзьям в пивной.

Родные мулунгувы изнывают от любопытства — им хочется знать, где так долго пропал глава семьи, но они ничего не спрашивают, полагая, что он выполнял тайные обязанности гагавара.

Но далеко не всякий мулунгува сам совершает убийство. Напротив, большинство предпочитают действовать через третье лицо. Обреченного человека убивают средь бела дня, на глазах всего племени и в присутствии му-

лунгувы, который, таким образом, остается вне подозрений. Изворотливым мулунгувам удавалось бы оставаться неизвестными и их имена канули бы в вечность, если бы не духи и магические следы.

— Что за вздор! — скажете вы.

И тем не менее это так.

Мулунгува, действующий через посредника, заманивает свою жертву в лес и оглушает ударом по затылку, а когда несчастный начинает приходить в себя, гипнотизирует его и ножом снимает жир с почки.

Рану он зашивает жилами животных и замазывает воском, так что она становится совершенно незаметной. Пока обреченный находится под гипнозом, мулунгува ему внушает:

— Твой враг Буджиринджа. Даже его собаки против тебя. Как одна из них залает — убей ее, иначе не знать тебе покоя.

Через несколько дней в лагере собака Буджиринджы начинает громко лаять.

— Почему ты не заставишь собаку замолчать? — спрашивает загипнотизированный.

— А ей нравится, пусть себе лает.

— Заткни ей глотку!

— И не подумаю.

— Тогда это сделаю я! — И он бросает копьё. Собака, взыв от боли и страха, отчаянно кусает древко копья, выступающее из ее тела.

Убить собаку — значит нанести тяжкое оскорбление хозяину. Разве не она помогала ему выслеживать кенгуру, согревала его в холодные зимние ночи, стала его тенью?

В ярости Буджиринджа хватает копьё и бросает его в жертву мулунгувы, в то время как сам мулунгува преспокойно смотрит из своего лагеря на подстроенное им убийство. Человек без почечного жира все равно был обречен, но теперь все видели, что убил его Буджиринджа. Его копьё, обогрешное кровью, — главное вещественное доказательство.

Чтобы отвести от себя подозрения окончательно, мулунгува берет на себя главную роль в лиррги — похоронном корробори. Он жалобно причитает и корит Буджиринджу.

Лиррги — еще одно корробори, на котором происходит

захоронение тети умершего. Мы натираем себе тело тлеющими ветками, чтобы вокруг каждого образовалась дымовая завеса, защищающая от духа.

Жена убитого прячется, чтобы он не мог последовать за ней. Недели две, не меньше, она не показывается у нас. Когда кажется, что ей уже ничто не угрожает, она вместе с сестрами спускается в яму, вырытую на территории лагеря. Там женщины ее моют и покрывают красной охрой. Теперь она освободилась от преследования тети мужа и может снова жить в лагере. Вокруг шеи эта женщина носит веревку в знак вдовства. Сестры ее тоже считаются вдовами, хотя у них есть мужья.

Через год у нас состоится корробори «разрывание веревки». Оно означает, что вдовство женщины закончилось, теперь она может снова выйти замуж.

А между тем миссионеры прослышали об убийстве. Эфир наполняется звуками — рации выстукивают новость.

И вот прибывает Гуанда-Соль — белый полицейский, который явился, чтобы закон европейцев мог вмешаться в племенное убийство, чтобы один из нас предстал перед Большим Хозяином Судьей. Полицейскому говорят, что причиной преступления послужила ссора из-за женщины. Мы всегда так говорим: белые понимают, что можно подраться из-за женщины, но не из-за собаки. Буджиринджу берут под стражу и отвозят в Дарвин, чтобы судить. Допрос его выглядит примерно так:

— Тебя зовут Буджиринджа, а?

— Ну да.

— Ты знаешь об этом большом-большом деле об убийстве парня на реке Ропер?

— Ну да.

— Тогда расскажи Большому Хозяину Судье все, что ты знаешь, а?

— Ну да.

— Но не то, что говорят другие парни. Не то, что болтают вокруг. Только что делал ты сам, что видел своими глазами, что слышал своими ушами. Теперь понял?

— Ну да.

— Ну так давай говори! Говори правду, парень! Говори громко!

— Ну да.

— Буджиринджа, ты помнишь убитого, а?

- Ну да.
- Это ты его убил, а?
- Ну да.
- Ты его убил, и он тут же умер?
- Ну да.
- Чем же ты его убил?
- Длинным копьём с железным наконечником.
- Вот этим?
- Ну да.
- Ты сам его сделал?
- Ну да.
- Ты его бросил в этого парня?
- Ну да.
- И копьё попало ему в грудь?
- Ну да.
- И он тут же упал замертво?
- Ну да.
- А за что ты его убил?
- Не знаю.
- Но ты же должен знать, за что ты его убил?
- Не знаю. А может, подрались из-за женщины.

Буджиринджа, видя, что отпираться бесполезно, признает свою вину. Тут вперед выступает Гунанда-Соль, человек с наручниками. Аборигена сажают в тюрьму за то, что он нарушил закон белых, которого не понимает. Там его запрут в душную камеру. Вделанное в стену железное кольцо будет напоминать о том, что с его предками обращались куда хуже.

Он будет заперт с десятком других черных людей из чужих краев, но общаться с ними не сможет: они, скорее всего, не говорят на его языке, а он — на их. Большой Хозяин Судья в угоду своей совести, обеспокоенной конфликтом двух чуждых культур, вынес, как обычно, минимальный приговор. Но в таких условиях и два года долгий срок.

Дело Буджиринджи казалось яснее ясного. Тело, пронзенное копьём, показания свидетелей, видевших, как он бросал копьё. Единственная неточность в том, что на самом деле убийство произошло не из-за женщины, а из-за собаки.

И все же за решетку попал невиновный.

При племенных убийствах, где замешаны мулунгува и кадайтжа, в тюрьму всегда идет невиновный.

Конечно, может, он и бросил копье.

Может, он и переломал женщине шею.

Может, все видели, как он совершил убийство, — так было, например, с Буджиринджой.

Но Буджиринджа всего-навсего палач палача, его спровоцировал человек, загнилотизированный мулунгувой, а мулунгуве приказали убить старейшины! Таким образом, Буджиринджа трижды оправдан перед английским судом, который признает факт убийства лишь при наличии «преступного намерения».

Преступного намерения не было у Буджиринджи.

Преступного намерения не было у его жертвы.

Преступного намерения не было у мулунгувы.

У старейшин тоже не было преступного намерения. Они просто защищали нашу веру, нашу культуру, которая восстает против осквернения тотемов.

Кто же тогда должен понести кару? Не вредит ли белый палач обществу, выполняя свой долг?

Нам никогда не удавалось убедить ни одного гуанду или Большого Хозяина Судью в том, что в тюрьму засадили невиновного. Мы уже много лет и не пытаемся это делать.

Зато гуанда с готовностью верит, когда мы говорим, что ссора произошла из-за женщины.

И мы знаем, что ни гуанды, ни судьи не поймут нашей системы возмездия. Не поймут, что молодой человек был убит мулунгувой за то, что его дед сразил копьем птицу, севшую на священное дерево.

В тех же редких случаях, когда алава пытается объяснить суть дела полицейскому, тот презрительно отмахивается: «Дела чернокожих».

К несчастью для нас, чужие законы, привезенные из Англии и написанные на много веков позднее наших, не считают осквернение священного дерева наказуемым преступлением, хотя предусматривают суровые кары за надругательство над другими святынями — христианской часовней, мусульманской мечетью, китайской кумирней...

Так разве странно, что мы не желаем подчиняться законам, навязанным нам без нашего согласия? Нас никогда не спрашивали, хотим ли мы принять английские законы. Нам просто сказали — выбора нет. Мы всегда считали, что можем сами справиться с правонарушителями. Десять тысяч лет, пока Австралия принадлежала только нам, мы

это с успехом делали. А теперь нас лишили этого права. Это главная причина недовольства моего народа, ибо племенные законы и английский кодекс часто несовместимы друг с другом.

Дело Буджиринджи не вызывало сомнений. Ну, а что если мулунгува совершает убийство в лесу, где его никто не видит?

В таких случаях джунгайи кунапиши — а я тоже джунгайи — должен отправиться к гунанде и состряпать для него легенду о том, что произошло.

И какого-нибудь несчастного аборигена его же товарищи засадят в тюрьму по вымышленному обвинению — драка из-за женщины, — подтвержденному показаниями свидетелей.

Их долг перед племенем — не возражать против ареста и не смеяться, когда присяжным и судье будут плести всякие небылицы.

Возвратившись из тюрьмы в родное племя, пострадавший хочет отомстить мулунгуве, если имя его известно и он еще жив.

Может быть, ему скажут:

— Мы нашли на могиле убитого знак тотема кенгуру. Он повернут к стране Валинджи. Имя мулунгувы Ялга. Мы ждали твоего возвращения, чтобы решить, как с ним поступить. Что скажешь?

Человек вспоминает два долгих года в тюрьме. Как бы ему не понасть обратно, если будет совершено новое убийство!

— Тюрьма — плохое место, — говорит он. — Все время думаешь о родной стране, о бедной жене, о детишках... Мне не хочется снова туда. Лучше я буду драться с этим человеком. Вызову-ка я его на банбурр...

Ялга делает удивленное лицо.

— Кто? Я? Да ведь я же был гагавар и выполнял тайное поручение, когда его убили. Я тут ни при чем.

— Все равно, мы встретимся на банбурре, — настаивает пострадавший.

И старейшины устраивают банбурр.

Банбурр — церемониальное корробори, на котором в ожесточенной драке сводятся все счеты. Дерущиеся применяют копья, нулла-нулла, бумеранги и безжалостно молотят друг друга, пока кровь не потечет ручьем или не затрещат сломанные конечности и пробитые черепа. Убий-

ство не допускается, хотя часто до него остается один шаг.

Банбурр — умиротворение путем войны, жестокое кровопускание, при котором выходит дурная кровь, достигшая точки кипения. Продолжается банбурр три дня. Люди — мужчины и женщины — приходят издалека, чтобы посмотреть на банбурр и принять в нем участие, как это бывало на римских турнирах.

Первыми на арену боя выходят мулунгува и его обвинитель и сражаются до полного изнеможения. Затем и другие припоминают старые обиды. Через несколько минут банбурр напоминает сумасшедший дом, наполненный пестрическим шумом: криками боли, звоном стали, глухими ударами пулла-пулла, зловещим хрустом ломаемых костей, визгом женщин, которых их мужья лупят кощалками и топорами якобы за воровство и другие прегрешения. Женщины дерутся с особым ожесточением, с неистовой злобой поносят врагов и долго потом не могут прийти в себя.

Но в конце концов они должны успокоиться: банбурр — это своего рода круглый стол, где шатающиеся от ран и усталости воины после драки подписывают перемирие, которое скрепляется, однако, не юридическими документами, а подарками. Самый ценный преподносит пострадавшему мулунгува. Еще бы! Пусть тело его избито, зато он избавлен от вечного страха за свою жизнь. Он расквитался с племенем, публично приняв возмездие. Отныне он может не опасаться, что знаки тотема или духи выдадут его тайну и другой мулунгува затащит его в лес. Никто не бросит в его тень копье, от которого он, покрывшись язвами, упадет наземь и умрет в страшных муках. Он освободился от тяжкого бремени своих обязанностей, руки его чисты, душа спокойна.

Люди из племени алава боятся злого мулунгувы.

Мулунгува боится людей из племени алава: а вдруг они его опознают!

Но тот, кто пройдет чистилище банбурра, получает прощение племени.

Правда, платить приходится дорогой ценой: переломанными руками и ногами, сломанным посолом, выбитым глазом, раздробленными от ударов железной палки кистями рук.

Тем не менее ни один мулунгува из алава не считал, что заплатил дорого. Ведь купил-то он жизнь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Аборигены охотно улыбаются и смеются. От природы мы народ веселый. Наши лагеря постоянно оглашаются взрывами хохота. Собака, старающаяся укунить себя за хвост, первые неуклюжие шаги ребенка, мужчина, присосавшийся к вымени козы, женщина, которая кормит грудью сразу двоих детей, — такие обыденные, казалось бы, вещи заставляют людей смеяться до упаду.

Пока я жил в лагере, мне это казалось естественным, но потом я понял, что веселость — скорее всего маскировка, прикрывающая страх, который абориген испытывает всю свою жизнь.

С раннего детства я боялся колдунов: с помощью сверхъестественных сил они «отпевают» своих жертв.

На охоте я опасался бурджинджинов — пигмеев, наделенных чудовищной силой. Сжав человека в объятиях, они превращают его в лепешку. Бурджинджинны — наши пугала. От страха перед ними я не мог отделаться всю жизнь.

Не избавился я и от впитанного с молоком матери страха перед маланугга-нугга, каменными людьми, обитающими близ Каменного города на Арнемлендской возвышенности. Теперь их уже нет, а алава по-прежнему избегают посещать их страну.

Я боюсь теней умерших и палача-мулунгувы.

Я готов совершить любой грех, поступиться чем угодно, лишь бы не навлечь на себя гнев моего тотема — кенгуру.

Но это еще не все. Все мои соплеменники, каждый мужчина, каждая женщина, боятся друг друга. Нет для них ничего страшнее угрозы: «Я срежу у тебя жир с почки».

Это не пустые слова, а реальная угроза действительно удалить жир с почки человека. Ведь каждого из нас учили это делать.

Когда я проходил инициацию, старейшины наставляли меня:

— Если надо убить человека, срежь у него жир с почки, как это делает мулунгува. Оглуши его сначала нулла-нулла. Удар нулла-нулла по затылку лишит его сознания на время операции.

И мне подробно разъясняли, как ее производить...

— Точно против почки сделай ножом или лезвием бритвы небольшой надрез, не больше дюйма, чтобы потом, когда ты его залепишь воском, он не был виден.

...как зашивать рану...

— Стежки делай малюпкие. Нитью тебе послужит очищенное волокно коры бутылочного дерева. Предевай ее в отверстия, которые пробуравишь острой рыбной костью. Действуй быстро, пока человек не оправился и не увидел тебя за работой.

...какое заклинание произносить...

— Из раны потечет кровь. Собери ее в куламон, вотри немного в его язык и скажи: «По воле дьявола ты умрешь и никому не скажешь, кто тебя убил». Немного крови вотри в его веки и уши, чтобы он не видел и не слышал ничего подозрительного о тебе.

...что я должен говорить своей жертве...

— Теперь ты дух. Больше ты не сможешь разговаривать с людьми. Пойдешь в лагерь и забудешь, что с тобой произошло. Не вспомнишь ни этого места, ни как здесь очутился, ни что здесь видел.

Так оно в самом деле и бывает. Через три-четыре дня человек умирает, не зная, кто его убийца, не зная, что тот оставил в его теле лист, веточку или грязную тряпочку и вызвал общее заражение крови.

Но зачем удалять жир с почки? Почему нельзя просто сломать человеку шею, ударить ножом в грудь или утопить?

Почечный жир — талисман. Он приносит нам счастье, как добрые пожелания, подковы и черные кошки.

Мы втираем его в конья и бумеранги, чтобы охота была удачной.

Мешочки с ним мы носим как золотой крест на шее — это отпугивает злых духов.

Мы верим, что амулет с почечным жиром принесет нам счастье всегда и во всем, наполнит наши мешки едой и убедит врагов не нападать на нас.

Но больше всего я боюсь, что какая-нибудь злая женщина убьет меня при помощи вилгина. Попробуйте посмеяться над женщиной из племени — она сможет превратить вашу жизнь в ад.

Она вырежет небольшой кусочек из рубанки или платья своего врага, лучше всего около подмышек, где ткань пропитана потом, унесет его в лес, за две-три мили от

лагеря, топором вырубит дупло в железном дереве и положит туда лоскуток.

Затем она разведет костер и накалит на нем докрасна несколько камушков, все время твердя своему врагу:

«Бегуна нея ярди
Гу марингу минайи!
Я тебя ненавижу.
Но теперь ты умрешь.
И я от тебя избавлюсь».

Левой рукой она положит раскаленные камушки на дощечку из чайного дерева и затолкнет их в дупло.

Пропотевшая ткань начнет тлеть, дух врага застонет:

«Гунгу лиманьи?
Нинанимби юр!
Зачем ты так со мной поступаешь?
У меня к тебе нет зла!»

Понимая, что она и сама подвергается опасности, женщина будет тщательно следить, как бы не вдохнуть дыму и не дать ему коснуться ее тела. Иначе она начнет терять силы и в конце концов умрет. Я знал женщин, которые засыпали от этого опасного «хлороформа» и больше не просыпались.

Женщина положит на ткань еще один слой раскаленных камней, закроет дупло куском дерева — тогда дух не сможет выскользнуть наружу — и потрет грязь в надрезы на стволе, чтобы сделать их незаметными.

Под конец она произнесет заклинание:

— Ты начнешь терять в весе. В жару у тебя не будет сил, тобой овладеет слабость. Вскоре ты не сможешь заботиться о себе. Станешь хиреть, хиреть... А когда придут холода, ты, не имея жира, который согрел бы тебя, умрешь...

Через несколько дней ее жертве станет не по себе. Она начнет чахнуть и медленно умирать, может быть в течение года, но это произойдет куда быстрее, если жертва обнаружит в своей одежде дыру. Страх, что на нее действует вилгин, сведет ее в могилу.

— Опасайся женщины, она может совершить вилгин, — предупреждал меня дядя. — Она самый хитрый убийца. И найти ее невозможно, ибо дух, который мог бы в этом помочь, уничтожен огнем.

Я навсегда запомнил его слова.

У женщин аборигенов свои корробори, на которых не присутствуют мужчины. Главное женское корробори у алава — дигга, равнозначное тжараде мужчин. Это праздник песни и танца любви.

Я не очень-то много могу рассказать о дигге. Это чисто женское торжество. Но женщины, и черные и белые, не умеют хранить тайны так хорошо, как мужчины. Поэтому мы знаем о их корробори больше, чем они о наших.

Дигга устраивается примерно в миле от лагеря, но женщины и не пытаются спрятаться как следует. Известно, что любопытные мальчишки подглядывают за участницами праздника. Матери вынуждены брать с собой сыновей, не прошедших инициацию, а болтливые малыши запоминают больше, чем подозревают женщины. К тому же они пользуются обрядовыми принадлежностями мужчин, назначение которых нам хорошо известно.

Тем не менее дигга покрыта тайной. Корробори продолжается месяц, и женщины за это время успевают спеть тысячи песен. Я не знаю ни одной из них, да и другие мужчины, наверное, тоже.

Мы предполагаем, что это простые любовные песни, с которыми каждая женщина обращается к мужу или любовнику, надеясь стать более желанной для него. Пение сопровождается ударами палок и хлопками.

Мне часто хотелось проникнуть на корробори женщин и узнать их извечные тайны, интригующие нас, мужчин, но я не решался, ибо знал, что, увидев раскрашенных женщин, тут же потеряю сознание и унижусь до того, что одна из их джунгайи будет приводить меня в чувство.

Все аборигены, кроме отдельных людей, на которых не действуют священные церемонии, также потеряли бы сознание вблизи от женского корробори. Поэтому мы обходим его стороной.

Участвующие в дигге женщины разрисовывают тела красной охрой и смесью пепла и жира. Они украшают себя муддамудда — кисточками из меха опоссума или, если местный Кристиан Диор не бездействует, из старого мешка из-под муки. Одни надевают гарадада — нагрудники из меха или плетеной коры бутылочного дерева. Другие прикрепляют к волосам листья лавра или обвязывают голову цветными шнурками. Женщины танцуют с обрядовыми предметами в руках, растянув между большими пальцами туго натянутую петлей веревку.

В отличие от мужчин — они в лагере властелины — замужняя женщина может пойти на диггу только с разрешения супруга. Немногие женщины осмелятся уйти из дому, не заручившись его согласием. Помимо всего прочего, оно нужно и для того, чтобы жена могла воспользоваться принадлежащими мужу бумерангами и палками для отбивания ритма.

Муж не всегда этим доволен. Иногда он ворчит, уподобляясь своему белому собрату, который жалуется, что жена взяла его биты для гольфа и возвратила грязной и поломанной. На бумерангах остаются несмываемые следы церемониальных символов дигги. Их приходится прятать от холостых мужчин, иначе те женятся на девушках из неподходящей группы.

Джунгайи-женщина имеет передо мной важное преимущество: она может украшать волосы и носить разные предметы на голове. Дело в том, что голова джунгайи-мужчины считается священной и поэтому остается непокрытой. Моя голова принадлежит бунга — детям сестры моего отца. Положить мне на голову десятифунтовый банкнот или засунуть за ухо сигарету — все равно что подарить их бунга, ибо они властны над моей головой и кровью. Если мне надо постричься, один из бунга делает это сам или милостиво разрешает мне обратиться к кому-нибудь. За посещение городского парикмахера без согласия бунга я могу быть оштрафован в их пользу.

Если я порежусь и запачкаю кровью рубашку, то немедленно лишусь или ее, или перочинного ножа, которым поранился. В последние годы я потерял таким образом десятки рубашек и ножей. Кровь джунгайи священна. Ею мои соплеменники приклеивают на кунаципи перья к телу. Перед каждой церемонией я должен наполнять кровью по крайней мере банку из-под джема. Иногда, чтобы крови хватило, ее приходится разбавлять водой. Женщины тоже употребляют кровь мужчин для украшения тела перед диггой. У меня выпрашивают кровь двоюродные сестры.

Поэтому тыльная сторона моих рук покрыта шрамами от острых осколков, которыми я открываю вены для родственников. Для нашей семьи я как бы профессиональный донор.

Кое-кто из женщин сумел добиться самостоятельности и никогда не подчиняться мужчинам. Некоторые — но их

очень мало — даже говорят с мужчинами как с равными. Я знал двух или трех старух, которым разрешалось давать советы законодательному совету старейшин. Это для женщины очень большое достижение.

Но статус одной женщины так и остался непревзойденным. Это была героиня племени, которой когда-то разрешалось обсуждать с высшим джунгайи процедуру кунаципи. Женщины на кунаципи не допускаются, и она не могла присутствовать на празднестве, но обсуждала с мужчинами некоторые его деликатные моменты. Это было в те дни, когда священный ритуал заканчивался торжественным совокунлением, а следовательно, затрагивал интересы женщины, хотя раньше мужчины с этим не считались. Тому, кто не родился аборигеном и не жил в обществе, где безраздельно господствует патриархат, трудно понять, сколь велика эта уступка.

В повседневной жизни женщина главенствует только над своими детьми, но и в роли матери она подчиняется брату, дяде ее детей.

У нас в семье не Анна говорит, к какому часу она приготовит обед, а я сообщаю ей, когда захочу есть.

Она не вправе сказать, что мне пора вставать, что я должен побриться, сменить рубашку. Я делаю это сам, когда мне заблагорассудится.

Иногда Анна говорит: «Хорошо бы пойти сегодня в кино», но безропотно соглашается с любым моим решением. Если я скажу «нет!», ей и в голову не придет пререкаться со мной.

Тот, кто сказал: «женщину надо ценить», имел в виду, конечно, не аборигенов Австралии. Может быть, он думал о полинезийцах, живущих при матриархате. Они буквально пресмыкаются перед женщинами, достигшими важного положения.

Я верю, что, когда умру, тень моя отправится туда же, откуда пришла, вслед за заходящим солнцем.

Наши тотемы двигались через всю Австралию, с запада на восток. Мы верим, что, подобно им, явился из страны заходящего солнца. Там до сих пор простираются богатые охотничьи угодья с полноводными билабонгами, огромные пастбища с жирной, сочной травой, где кенгуру лишены обоняния, а мулунгувы добры.

Многие аборигены верят в воскресение человека пос-

ле смерти. Гобабонгу, живущие на берегу Арнемленда, утверждают, что их тени попадают в буролгу — Место ожидания. Но алава не верят, что умерший абориген возвращается в новом обличье на землю. Мы закоренелые язычники даже по сравнению с другими аборигенами.

Наши религиозные верования различаются между собой не меньше, чем христианские секты, но их роднит одно: никто из аборигенов не произносит имени умершего в течение по крайней мере десяти лет со дня его смерти, а в некоторых племенах его и вовсе не употребляют.

Только через десять лет после смерти моего отца кто-нибудь из наших родственников или соплеменников сможет упомянуть Барнабаса Габарла.

До этого, поминая отца, я буду говорить просто «покойный», а для отличия от других умерших добавлю название его племенной территории. В этом отношении мы очень осторожны. Я не знаю среди алава ни одного, кто решился бы произнести имя человека, умершего меньше десяти лет назад. Они, как и я, боятся, что это может привлечь его дух.

Сейчас я уже могу без опасений говорить о моем неродном дедушке Джалбургугуле, умершем очень давно. Он принадлежал к тому же семейству, что и я, поэтому я даже разрешаю себе шутить по его адресу. Но дедушка со стороны отца продолжает оставаться для меня «покойным из страны Дувауманджи».

Аборигены вообще не любят употреблять постоянные имена даже живущих людей, а имена ближайших родственников для них табу.

Из-за этого моим родным сестрам, неродной матери, двоюродным сестрам приходится немало терпеть от меня. Если я хочу позвать сестру Мерцию, я кричу: «Гараву!», что означает «вздор». Иногда я говорю: «Бударинджа» — «дьявол» или просто «гаран» — «ты».

Женщины отыгрываются, награждая меня именами моих дочерей. «Конни! Филлис!» — кричат они.

Личные имена мужчин тоже стараются употреблять как можно реже. Человек, поранивший руку топором, становится Муритжи Гулгул — буквально Рука-Топор. Парализованный зовется у нас Буджурбуджур, а покалечившийся при падении с лошади — Ламлам. Оба этих прозвища указывают на изъян, имеющийся у их облада-

телей. Меня часто величают Ларбарянджи — по названию моей племенной территории.

Должен признаться, что хотя вот уже десять лет, как я приобщился к жизни белых людей — они ее называют цивилизацией, — я по-прежнему суеверно избегаю своего личного имени. Пусть люди лучше называют меня Ларбарянджи или английским именем — Филипп Робертс, чем Вайпулданья или Ваджири-Ваджири. Никому не известно, когда духи подслушивают нас! Как истые духи аборигенов они не знают ни моего английского имени, ни названия моей племенной территории.

А чтобы они вовсе были мне не опасны, у меня есть еще и другие имена, которые употребляются при приближении духов. Одно из них — секретное имя, известное лишь мне и самым близким родственникам-мужчинам. Оно произносится вслух очень редко и только при исполнении мной священных обязанностей джунгайн куланиши.

Когда моя мать умерла, мне уже исполнился двадцать один год. Всю свою жизнь я прожил с ней в лагере отца. Но я никогда не слышал ее племенного имени и не знаю его сейчас. При мне ее всегда называли Норой. Так и я называю ее в этой книге. Знай я ее настоящее имя, я бы все равно не упомянул его.

Иначе ее дух мог бы возвратиться, чтобы выяснить, в чем дело!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Моя мать умерла в больнице, заточенная, словно правонарушительница, на пустынном острове Алькатраз в заливе Дарвин с кучкой других жалких отщепенцев, белых, желтых, коричневых, черных, чье непростительное преступление состояло в том, что они заразились иноземной болезнью. Проказа! «И сказал Господь Моисею и Аарону... Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы... видом похожа на проказу... то священник должен объявить его нечистым. У прокаженного... должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: Нечист! Нечист! Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он; он должен жить отдельно, вне стана жилище его».

Шесть тысяч лет спустя после того как господь бог наложил проклятие на израильтян, христианский миссионер взглянул на мою мать и сказал: «Нора, ты нечиста!»

И тут же ее выдворили из лагеря, чтобы она, раздираемая болью в разлагающемся заживо теле, до конца дней своих влачила существование одна, на чужбине, запертая на засушливом скалистом острове, где редкие деревья не спасают от безжалостного тропического солнца.

Больные называли свою тюрьму Сточным Островом. Там моя мать провела свои последние годы, быть может размышляя о странной судьбе женщины-язычницы, изгнанной христианским обществом за то, что в ней засел педуг, принесенный цивилизацией, которую она, женщина, только теперь лицезрела воочию. Из своего заточения она видела город Дарвин, видела, но посетить его смогла бы лишь после исцеления, а оно так и не наступило.

Теперь только ее искривленные кости лежат там, над болотистыми берегами, покрытыми зарослями мангровых, над проливом, населенным крокодилами, которые в миле от прокаженных стерегут священный материк, где против дурных суеверий борются тем, что осуждают суеверных людей.

Мою мать отвезли в Место ожидания смерти. Провожая ее, мы знали, что она не вернется. Очень немногие возвращались оттуда в те дни, когда еще не существовало сульфамидных препаратов. Там ее держали в душном железном бараке, с незнакомыми людьми, с которыми ее родило одно: части их тела, сморщившись, отпадали.

Для успешного лечения проказы очень важна благоприятная обстановка, создающая у пациента более или менее хорошее настроение и желание выздороветь. Сточный Остров оказывал противоположное действие: «нечистые», которые туда попадали, надеялись лишь на быструю смерть. Многим даже в этом было отказано, и они в отчаянии продолжали влачить свое жалкое существование.

Моя мать была там в знойный летний день 1942 года, когда из-за грозových туч вышли японские бомбардировщики и атаковали Дарвин. Она, словно с трибуны, могла наблюдать, какой ущерб нанесли бомбы обществу, изгнавшему ее.

Несколько дней спустя метис Грегори Говард, тоже прокаженный, перенправил семьдесят больших, в том числе мою мать, в уединенное место на материке, в тридцати милях от Дарвина, чтобы там переждать опасность японского нашествия.

Говард перевез их через узкий пролив на катере и на краю болот, заросших мангровыми, построил шалаши. Помогали ему одноногоие, однорукие, одноглазые...

Хромой поддерживал слепого, слепой хромого. Большие бредни, опираясь на палки, у одних не хватало ноги, у других руки были так изъедены болезнью, что их приходилось кормить с ложки. Кое-где, чтобы перебраться через грязь, им приходилось ползти на животе.

Вечером они, изможденные, падали и тут же засыпали вокруг костров, которыми старались разогнать мириады мошкары и москитов. Насекомые делали жизнь совершенно невыносимой даже для прокаженных, чувствительность которых притуплена нервным истощением.

Моя мать была одной из этих несчастных, впервые за много лет почувствовавших себя на свободе.

Провизию они несли с собой. Те, кто мог, охотились на гуан, ящериц, змей, разыскивали слизняков и личинки. Когда все припасы вышли, Грегори Говард один отправился на проклятый остров и привез продукты из оставленного там резерва.

Правительственный патруль — Гордон Сунней и Билл Гарней в сопровождении аборигена Крэба Билли неуспешно разыскивали партию прокаженных, но болота, заросли мангровых, леса панданусов и десятифутовая трава цепко удерживали свою тайну.

Физически Говард был крепок и мог бежать. Ничто не мешало ему бросить остальных, чтобы те, кто еще передвигался самостоятельно, вернулись к своему племени. Вместо этого, понимая, что его подопечные нуждаются в помощи, он послал одного из париев в цивилизованный мир, отгородившийся от них. Посланный песчаниску прокаженного, нацарапанную огрызком карандаша на клочке газеты: «Многоуважаемый господин Сунней! Все больные здесь, кроме троих, которые скончались. Билли проводит вас. Нам нужны лекарства и продукты».

Сунней нашел в лесу прокаженных и с помощью Говарда водворил их обратно в склеп на Стольном Остро-

ве, где они оставались до конца войны. Когда этот день настал, моей матери уже не было в живых.

О да, наша трагедия состояла в том, что мы были очень восприимчивы к этому и другим инфекционным заболеваниям цивилизованного человечества. Раньше мы не страдали от проказы, туберкулеза, сифилиса и даже такой сравнительно безобидной болезни, как корь, а потому и не успели приобрести иммунитета против них, когда среди нас появились посетители из Коричневого, Белого и Желтого миров.

На острове Грут-Айленд от кори умерло тридцать человек. Другая эпидемия, разразившаяся в Центральной Австралии, унесла двести жертв. Когда болезнь достигла Манингриды на реке Ливерпуль в северной части Арнемленда, санитарные самолеты, чтобы помешать ее распространению, сделали за сорок дней сорок три вылета.

Умножьте эти цифры на число всех племен Австралии, добавьте тех, кто погиб от пуль и зверств колонистов и целых карательных экспедиций против населения, посягнувшего на скот или воду овцеводов, более священную, чем святая вода, и вам станет ясно, почему численность аборигенов, составлявшая до появления белого человека более трехсот тысяч человек, теперь сократилась до пятидесяти тысяч.

Мой отец был ребенком, когда первые поселенцы проникли в глубь страны, двигаясь вдоль рек Ропер, Ходжсон и Лиммен. Это было задолго до того, как миссии и полиция принесли «закон» и «порядок». Я на всю жизнь запомнил рассказ отца о его детских годах.

«Плохие времена. Да, да, плохие то были времена. Мы были напуганы, как кенгуру, и все время шли, нигде не останавливались и не находили покоя, все время шли и шли, убегали от белого человека и его пули. Шли мы голые, одеял у нас не было, пища тоже, только то, что давала охота, а воду мы крали у белого человека.

Вот так. Очень плохие были времена. Белый человек сказал, он хозяин над всей этой землей и водой. Он пулями прогнал нас на холмы, быстро-быстро скакал за нами, так что его даже не разглядеть. Мы боялись разложить костер — белый человек увидит дым и найдет нас — и ели сырое мясо. А с холмов видели, как белые люди нас выслеживают, словно мы кенгуру. Они все были на

лошадях и с ружьями наготове, играли в охоту на чернокожих, чтобы до завтрака успеть уложить троих.

Вот так. Однажды они без лошадей подкрались к нам, тихо-тихо. „А-а-а-а! А-а-а-а!“ — закричали женщины. Моя мать схватила меня на руки и кинулась бежать в лес. Бежала, бежала и все оглядывалась, боялась очень пули белого человека с красным лицом.

Вот так. Мы ушли. Но мой отец, теперь покойник, повел всех другой дорогой, чтобы отвлечь овцеводов от нас с матерью. Он, отец, видел, что с овцеводом черный парень из Квинсленда, но не заметил, что черный парень поднял ружье. Бац!

Мой бедный отец, теперь покойник, получил пулю в плечо. Она спереди вошла, а сзади вышла. Он упал, но тут же вскочил и бежал, бежал, бежал...

Вот так. Мы ушли. Черный парень из Квинсленда и овцевод преследовали моего отца, как я преследую раненого кенгуру, но больше не догнали моего отца. В ту ночь мы нашли его в лесу. Он больше не стонал, не разговаривал, но сильно-сильно был напуган.

Вот так. Ни санитарного самолета, ни миссии, ни грузовика... Только лес, и в нем мы собираем орехи, только дикий черный человек и белый человек с ружьем. Моя мать и еще один человек из нашего племени лечили моего отца, прикладывали к ране сок чайного дерева и красную охру, пока она не зажила. Но мой отец, теперь покойник, остался с искалеченной рукой. Охотник плохой, но все же он был жив и умер стариком.

Вот так. Теперь уж мы были очень осторожны. И все равно людей убивали, и женщин тоже. Мы слышали, белый человек кричал: „Стреляй черных женщин, они рожают детей“. Другой раз белый кричал: „Бросай лассо на этого молокососа, отправлю его на конюшню. Они стреляли нас для забавы, громко смеялись, когда мы бежали или когда человек падал от пули.

Вот так. Все время мы боялись длинного ружья. Все время мы шли, все дальше от той святой воды, охотились на валлаби, эму, ящериц, ели их сырыми. Д-о-о-о-лго, д-о-о-о-лго мы были на горе Лаугабан, около Тапумбирини. Вещей у нас не было никаких — ни одеяла, ни топора, ни билликана, ни муки, ни чая, ни сахара. Ничего у нас не было, только копье да мясо кенгуру, иногда мясо крокодила и дикий мед. Воду мы держали в куламонах из

коры. В хорошую погоду ложились спать на земле, мужчины голые, женщины голые, без одеял. В плохую погоду, в дождливую, мы делали заслоны от ветра и укрывались корой чайного дерева. Но спали вполглаза: ждали, что мог прийти белый человек, и тогда надо было бежать.

Вот так. Много лет мы жили, как животные. Заметали свои следы, шли по траве, шли по горам. Корробори не было, кунанини не было, ябудурава не было, Земле-матери пришлось ждать. Морркуна тоже не было: белый человек убивал черного человека и сжигал его тело.

Вот так. Мальчиком я все время боялся. Радостей никаких, только все боялся-боялся, бежал-бежал, прятался-прятался, но не плакал, потому что мама все пугала меня, говорила: „Белый человек услышит и придет“.

Вот так-то, вот так. Пришел полицейский. Пришли миссионеры, говорят: идите все жить в миссию. Они говорят: мы с вами друзья, мы люди бога, мы учим в школе. Они говорят: мы будем учить о боге на небе, будем учить писать и читать, больше нет драки, больше нет убийств. Они говорят: у нас нет ружей. У них палатки, как большой доскут ситца, и в них они живут. Мы ловим рыбу, охотимся на кенгуру. Мы даем им рыбу, даем им кенгуру. Они говорят: „Спасибо. Спасибо, большой парень“. Теперь у нас есть друзья, овцеводы больше не приходят, нам уже не страшно, и мы живем и живем на одном месте... И теперь мы, как христиане, говорим о боге на небе».

Гибли не только черные.

Мы не упускали случая, чтобы отомстить. Мои соплеменники напали ночью на лагерь белых людей и убивали их, пока те спали, ударом копья в сердце или пулла-пулла по голове. Иногда убивали только из-за того, что не понимали действий белого человека и назначения его вещей. Помню, мой дед рассказывал, как одного белого пронзили копьем за то, что он зажег сигарету и выпустил дым через нос. Раньше люди моего племени ничего такого не видели.

— У него в теле огонь! — закричали они.

— Только у духов внутри огонь!

Значит, он дух.

И его тут же убили. Другого проткнули копьем за то, что он вынул из кармана часы, открыл их и взглянул на солнце.

— У него в кармане гунару — солнце!

— Да, да! Он дух! У него в кармане солнце!

— Человек-гунару! Бей его! Бей!

Но сей день наш народ называет часы «гунару» — они, как солнце, указывают время.

Множество драк и убийств часто происходило из-за женщин.

После первых ожесточенных столкновений алава поняли, что у белого человека есть вещи, которые им хотелось бы иметь, особенно табак. Мы охотно отдавали за табак наших женщин, но, если их угоняли насильно или нас при расчете обманывали, начиналась война.

Мы не возражали против того, чтобы белые пользовались нашими женщинами. Когда убийства прекратились, мы причисляли белых к категории высших джунгайя, то есть лиц, занимающих наивысшее положение и пользующихся гостеприимством племени. Очень скоро, конечно, жены аборигенов стали тайно или явно бросать своих мужей и уходить к белым. Покинутый муж обычно говорил: «Если она захотела уйти, значит, дрянь она, пусть уходит!»

За убийством любого белого следовали карательные экспедиции. И да хранит Земля-мать того, кто попадался на ее пути!

Недавно я прочел отчет о такой экспедиции начала нашего века, написанный белым человеком по имени Джордж Конвей.

«В Баухинии на нас постоянно нападали дикие туземцы, — пишет он (Баухиния недалеко от горы Лангабан и Танумбирини, где стреляли в моего деда). — Я всегда носил ружье, чтобы защищать себя и лошадей. Однажды специальный констебль предложил мне участвовать в государственной карательной экспедиции против туземцев, которые убили пятерых белых старателей и съели их лошадей. Поехали двое полицейских, два других белых, тринадцать туземцев и я.

У нас были ружья и пистолеты. Черные нападали на нас каждую ночь. Но и мы стреляли их сотнями, уверяю вас, именно сотнями. Были такие лагеря, где жило по две-три тысячи человек. Мы стреляли не из любви к искусству, а потому, что, если бы мы не убили их, они бы убили нас. Один из наших туземцев — Милки — сбежал. Мы нашли его потом обезглавленным. Страш-

ное было время, страшное... Но туземцы — дикий народ, и его надо было укротить».

Я произошел от этого дикого народа.

Был такой кавалерист Джордж Монтэгио в полиции Северной территории, который в заключение отчета о карательной экспедиции против племени вулвонга написал: «Не могу не отдать должное точности попадания и скорости ведения огня из ружья системы „мартини-гепри“».

На полях сражений в основном оставались лежать голые трупы чернокожих. Это служило бесспорным доказательством преимущества пули перед копьем.

Но самая страшная язва цивилизованного человека тайно проникла к нам вместе с торговыми судами из Макасара задолго до первого белого человека, первого белого ружья и первого водоема «святой воды».

Эти великие мореходы приплывали из воюющих селений, веками гнивших в грязи Азии.

Они пересекали Тиморское море и высаживались на северном берегу Арнемленда. Здесь они обменивали ротанговое дерево, ножи и топоры на жемчужные раковины и трепангов. Из залива Карпентария они при юго-восточных пассатах входили в устье реки Роз, где их встречали наши соседи — нунгубуйу.

У мореходов было много заманчивых безделушек. У нас были женщины.

Торговля, бесспорно, процветала³⁰.

Намного позднее, в девятнадцатом веке, китайских рабочих вербовали на строительство первой железной дороги Дарвин — Пайн-Крик на Северной территории. Их потомки-полукровки выделяются среди нас китайскими именами, совсем не соответствующими черным как смоль лицам.

Они нашли реку Ропер.

Они нашли нас вскоре после того, как мы впервые встретились со старателями, искавшими золото, со скотоводами, переправлявшими толпы табуничиков по прибрежным «дорогам» на Кимберли и еще дальше, со строителями, которые, заканчивая телеграфную линию Лон-

³⁰ Начиная с XV века, а возможно, и раньше, северные берега Австралии систематически посещались индонезийскими моряками и торговцами, промышлявшими у берегов Австралии трепанг и жемчуг.

нон — Сидней, тянули поющие струны из Дарвина в Аделаиду.

Эти люди приносили нам подарки в обмен на женщины. Кроме того, они приносили болезни. Они принесли проказу, смертельную болезнь израильтян времен Моисея. Незаметно подкрадывалась она к нам, уродовала тела, разъедала пальцы рук и ног, делала лица неузнаваемыми.

Мы — люди примитивные и не знали даже основ гигиены — в этом просто не было необходимости. Мы спали целой семьей вповалку, пользовались общей трубкой, пили из одного сосуда. Несколько музыкантов играли на одном диджериду. В лагерях кишмя кишели вши и другие паразиты. По ночам нас согревали собаки. Повсюду валялись гниющие отбросы пищи.

Но все это не имело ни малейшего значения в то счастливое время, когда мир, полный инфекции и разлагающейся плоти, был далеко от нас. Наши тела умели сопротивляться болезням, которые предки принесли с собой из Страны сновидений, хотя мы сполна получили по наследству свою долю хронической фрамбезии. Но как только коричневая, желтая и белая кровь стала смешиваться с черной, пренебрежение основами санитарии, как мы ее теперь понимаем, полное невежество в этой области повлекли за собой страшные последствия. Война, начатая микробами, нанесла нам чудовищный урон. Микробы беспрятственно размножились в благоприятной для них среде, а в скученных лагерях передача инфекции от одного к другому и от другого к третьему была неизбежна.

Никто не знает, сколько людей с реки Ропер умерло только от проказы. Сейчас в лепрозории около Дарвина двести пациентов, из них одна шестая часть — мои земляки.

Вскоре после окончания войны тетка Агнес Иганиримба, взглянув однажды на моего младшего брата Джекоба Буяинджиманджинджи, сказала: «У него проказа». Когда в следующий раз на реку Ропер прилетел санитарный самолет, доктор осмотрел Джекоба и подтвердил диагноз.

Джекоба отправили на Сточный Остров, где умерла наша мать. Потом это ужасное место закрыли и его перевели в Ист-Арм, современный лепрозорий около Дарвина. Двенадцать лет Джекоб был разлучен с семьей, но его вылечили сульфамидными препаратами и выписали из больницы. Теперь он, как и я, гражданин Австралии, сво-

бодный от ограничений, налагаемых законом белого человека. Впервые двое из одной семьи аборигенов удостоились такой чести. Нашей семье принадлежит также сомнительная честь иметь двух прокаженных. Несколько больных имеем мы и среди ближайших родственников.

Как и воезде племен, проказа поражает самым неожиданным образом. Моя мачеха, родная мать, младший брат и брат двоюродный — его лучший друг — заболели. Отец, брат Силас, сестра Мерция и я избежали заразы, хотя Мерция несколько лет жила с матерью на Сточном Острове. Я сделал несколько анализов — все они дали отрицательные результаты.

Еще не так давно прокаженные, услышав о прибытии на Ропер санитарного самолета, убегали в лес и там дожидались его отлета. Они знали по опыту, что большинство из тех, кого увозили на Сточный Остров, назад не возвращались.

Даже теперь лечение продолжается очень долго. Прокаженный знает, что не выздоровеет за две недели. Он должен покинуть племя надолго. Естественно, многие аборигены не хотят подвергаться изоляции, и я думаю, что сейчас в лесу прокаженных больше, чем в больнице Ист-Арм.

Принято считать, что проказа не очень заразна и передается только при длительном и близком контакте. Я сомневаюсь, что это так, — слишком уж много больных среди аборигенов на реке Ропер.

Согласится больной, особенно женщина, лечиться или нет — зависит не только от его желания. Женщина не может по своей воле покинуть семейный лагерь. Это решает только ее муж, а он опасается — и не без оснований, — что больше ее не увидит. Он не уверен, что врачи сумеют вылечить проказу. Ну а если он уже достиг преклонного возраста, то будет всячески сопротивляться госпитализации жены, не желая оставаться без нее, особенно в старости, когда она сумеет всеми правдами и неправдами раздобывать ему табак. Отъезд жены в больницу лишает его многих удобств. В некоторых племенах стариков не ждет ничего хорошего. Не удивительно, что многие из них предпочитают видеть, как медленно гибнут близкие, даже если это угрожает распространением инфекции, лишь бы не отправлять их в больницу.

Знахари племен бессильны против проказы. Они и не пытаются ее лечить, понимая, очевидно, что им с ней не

справиться. Зато у нас есть патентованные средства против других болезней. При фрамбезии, например, применяют примочки из сырой земли или красной охры.

Простуду знахари лечат микстурой из проквашенных ветвей чайного дерева. У нас нет бутылок для хранения настойки эвкалипта, поэтому сок высасывают непосредственно из черенка листа или просто вставляют лист в нос.

Клейкое вещество, вывариваемое из растения под названием гуйя, успешно используется для лечения дизентерии. Алава прикладывают гуйю к ранам, полученным в лесу.

Есть у нас еще одно средство, настоящая панацея от всех недугов. Мы верим, что оно помогает при любых недомоганиях, начиная от перелома костей и кончая венерическими заболеваниями. Это будига. Ее тоже варят из ветвей. Она, конечно, не может заставить сломанную ногу срастись, но, выпив будигу, пациент впадает в бессознательное состояние — что несколько не удивляет меня — и не испытывает боли, когда ему перевязывают ногу полосками чайного и бутылочного дерева. Будига — наш примитивный палтопон.

Теперь, имея некоторое представление о медицине, я рад, что ни разу не получил серьезного ранения и не болел и был потому избавлен от услуг наших знахарей, которые подчас куда опаснее самой болезни.

Школьником я помогал в амбулатории миссии медицинской сестре (обычно ее обязанности выполняла жена управляющего): промывал и перевязывал раны и ссадины и следил за последующим лечением больных в природном боляри. Это пробудило во мне интерес к медицине, сохранившийся по сей день.

Но прошло немало времени, прежде чем я смог посвятить себя служению ей в качестве водителя санитарной машины и личного ассистента белых врачей.

До этого мне пришлось работать табуищиком, конюхом, объездчиком и водителем грузовика.

За это время мне ни разу не потребовалась помощь племенного костоправа. Бесспорно, мои «свидетельства» оберегали меня.

Но впереди меня ожидало еще много волнений и опасностей!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мой отец, Барнабас Габарла, высший джунгайи и главный скотовод, пострадал из-за жеребца по кличке Шотландия. Когда отец его объезжал, жеребец отчаянно брыкался, прыгал и вставал на дыбы. От сотрясения позвоночника отцу парализовало ногу, и он не смог без посторонней помощи сойти с седла. Барнабас так и остался на всю жизнь калекой.

Однажды, вскоре после того как я окончил школу, Стэнли Порт сказал:

— Филипп, я думаю, тебе следует стать скотоводом.

Я хорошо понимал, что это значит.

Я видел, как брыкались в манеже дикие лошади, как они с хрипом раздували ноздри и неистово молотили ногами в отчаянной попытке искалечить своего мучителя, как сверкали их обезумевшие от ужаса глаза.

Я видел, как они с силой бросали людей на деревянный забор манежа, как топтали их копытами, как выносили изуродованных объездчиков.

Помню, прилетал санитарный самолет и увозил пострадавших в больницу. У одних были переломы, другим острой веткой чайного дерева или куста выкололо на скаку глаз, третьих поддел на рога вол, когда они учились опрокидывать его навзничь.

Я знал, что это опасная работа, связанная с почти неизбежными ранениями. Лошади станут лягаться и так подбрасывать меня, что спина моя будет чуть ли не разламываться пополам.

И все же я ни минуты не колебался.

Я ездил верхом на лошадях миссии, едва научившись сидеть на них. Ездил без седла, без одежды. Лошадь без упряжи мчалась по прибрежным равнинам, и черное тело сливалось с черной гривой, как это было в тот чудесный день, когда мы пролетели мимо горки и Роджер Гунбукбук сломал себе ребра. Если уж надо было работать, то лучше всего с лошадьми.

— Мне это по душе, — ответил я.

— Хорошо, — сказал Стэнли Порт. — Поговорю с Сэмом Улагангом, пусть он займется с тобой.

Сэм! Сэм Улаганг! Итак, мне снова пришлось терпеть заносчивость Сэма, того самого Сэма Улаганга, который много месяцев заставлял меня носить за ним копья и вы-

говаривал мне, если, идя по следу, я ставил ногу не туда, куда нужно. Сэма, чье скрытое под маской дружбы презрение чуть не довело меня когда-то до отчаяния. Я снова выслушивал его насмешки и с трудом подавляя в себе желание пронзить его копьём всякий раз, как, подымаясь с грязной земли манежа, замечал его усмешку.

— Сэм, попридержи-ка лучше язык, — бормотал я.

А когда он начинал меня пилить: «Парень, ты когда-нибудь ездил верхом?», «Парень, ты знаешь с какой стороны садиться на лошадь?», мне казалось, что в один прекрасный день мы с Сэмом сквитаемся на банбурре.

Но со временем я понял, что Сэм не только лучший охотник и следопыт, но и лучший скотовод на всей реке Ронер. Я решил перенять у него все, что мог, и стать по крайней мере вторым после Сэма объездчиком в наших краях.

Сэм не знал жалости. Он не скупился на насмешки при малейшем поводе, стараясь, таким образом, научить меня укрощать буйных жеребцов, которые, казалось, хотели одного — убить меня копытами. Когда я, словно мешок с картошкой, летел на землю — а это случалось постоянно, — Сэм не проявлял ни малейшего сочувствия.

— Вставай! — кричал он. — Вставай, садись обратно! И постарайся удержаться хоть на этот раз! Или ты воображаешь, что катаешься по скользкому склону?

А когда я обуздал моего первого жеребца — какое это было торжество! — Сэм и на этот раз остался равнодушен.

— Ну давай гони его! — кричал он на меня целыми часами. — Набрасывай лассо! Давай, давай подтягивай, чтобы он начал задыхаться и упал. Вот так, хорошо, а теперь немного ослабь лассо! Как он встанет, затащи опять! Давай тяни, тяни! Одну веревку захлестни вокруг шеи, другую вокруг ноги. Не торопись, осторожно! А теперь тяни веревку, чтобы оторвать его ногу от земли. Так, так, правильно... Эй! Никогда этого не делай! Не показывай лошади, что ты ее боишься! Ты хозяин! Помни это, и лошадь пусть помнит, иначе ты проиграешь еще до того, как начнешь. Ну, теперь подходи... Разговаривай с жеребцом... Брось ему на спину мешки... Погладь его... Чувствуешь, как он вздрагивает под твоей рукой? Погладь еще. Маскай его, ласкай хорошенько, пока он не перестанет тебя бояться. Ну, теперь клади седло... Осторожно, не спеша, не торопись, тихо-тихо... Подтяни подпругу! Еще, еще!

Через минуту ты поймешь, как это важно! Теперь подводи подхвостник. Вытягивай веревку из-под ноги! Осторожнее, сейчас он начнет брыкаться. Брыкайся, красавец мой, брыкайся, сколько душе твоей угодно! Вверх! Вниз! Ах, ты не можешь сбросить седло? Еще бы, Вайпулданья хорошо затянул подпругу! Не нравится тебе, а? Ничего, ничего, привыкай! Привыкай и к хлысту и к шпорам, к тому, чтобы скакать за стадом и есть из руки Вайпулданья, если он не побойлся поднести ее к твоей морде. Эй, Вайпулданья, тебе нравится объезжать лошадей, а?

Так он насмеялся надо мной, пока обезумевший жеребец метался по манежу, вставая на дыбы и вскидываясь в отчаянных усилиях сбросить с себя седло. Он даже опрокинулся на спину и, объятый диким животным страхом, заржал, но тут же снова вскочил на ноги.

— Не хочешь ли проехаться на этом красавчике, а? — продолжал изводить меня Сэм. — Что, небось мурашки по спине забегали? Теперь давай сними седло. Подними переднюю ногу жеребца! Ухватись за бабку и заставь его поднять ногу... Хорошо, теперь другую. И гладь его, гладь, все время гладь... А сейчас веди его вперед, чтобы он знал, как двигаться, что делать, когда ты натягиваешь поводья. Ты готов?

— К чему?

— Сесть на него, конечно!

У меня не было выбора. Я находился в манеже вместе с пятьюстами фунтами отчаянно брыкавшейся конины и мог выйти оттуда только верхом на ней. Или я возьму верх над жеребцом, или он надо мной.

— Готов, — сказал я.

— Хорошо! — Сэм стал еще внимательнее, он весь был поглощен только тем, как бы мне помочь. Издевки его прекратились так же внезапно, как начались, он спокойно давал мне советы.

— Ослабь эту подпругу. Сильно брыкаться он уже не сможет. Конечно, это тебе не детская лошабочка-качалка, сидя на жеребце, нельзя покуривать сигаретку или читать книжечку, а? Хорошо, теперь снова накинь веревку на ногу и подними ее, чтобы он больше не мог брыкаться. Хорошо, хорошо... Гладь опять седло, тихо, аккуратно. Тяни подпругу. Тяни, тяни! Теперь зажми поводья в левой руке и сю же потяни его за ухо. Повисни на стремях! Отпусти! Еще повисни! Отпусти! Снова повисни и теперь

давай в седло! Смелее! Сползай на место! Постепенно опускайся всей тяжестью. Ну как ты, Вайпулданья?

— Хорошо!

В тот момент это была правда.

— Снимай веревку! — приказал Сэм другому объездчику. — Снимай веревку с ноги жеребца! Открывай ворота! Скачи, парень!

Я сидел в седле на спине необъезженной лошади. За воротами маленького манежа находился большой: тут она могла свободнее двигаться и брыкаться.

Хотел я того или нет, но мне пришлось скакать, как никогда еще в жизни, на очень горячем жеребце, полном решимости отомстить за все те оскорбления и унижения, которые он претерпел в последние несколько часов.

Нет, это была не лошадка-качалка! Жеребец с храпом прыгнул вперед, затем отпрыгнул назад, взвился вверх, изо всех сил грохнул всеми четырьмя копытами оземь, так что по его хребту пробежала сильная дрожь. Голову он держал между ногами, копыта его то и дело взметали вверх, подымая тучи пыли. А рядом прыгал, надрываясь от крика, Улаганг:

— Держись, Вайпулданья! Ты его одолел, одолел!

Да, я его одолел. Я понял это уже через несколько секунд. Этот неуклюже лягающийся жеребец не мог сбросить человека, сидящего с поводьями в руках в глубоком седле объездчика, того, кто привык скакать без седла, прижимая босые ноги к бокам лошади, которая мчала его к горке и дальше.

Когда жеребец начал уставать, я в свою очередь проявил порыв и стегнул его поводьями:

— Ты чего присмрел? Мне поправилось, как ты лягаешься. Я только поэтому здесь. Валяй дальше!

Он словно нехотя сделал еще одну попытку сбросить меня, бесконечно устав от напряжения, требовавшегося ему для того, чтобы оторвать могучее тело от земли.

Напуганный, покрытый клочьями пены, жеребец остановился. Я ласково потрепал его по холке, приговаривая успокоительные слова. Отныне, когда он того заслужит, я буду всегда так с ним обращаться.

Через несколько дней жеребец на глазах у Сэма Улаганга ел из моих рук.

Сэм едва похвалил меня.

— Хорошо, — сказал он.

Это было единственное слово одобрения, которое Сэм знал.

Далеко не все жеребцы были так уступчивы. Сэм не имел удовольствия видеть, как я лечу наземь, и неизменно приветствовал меня язвительной насмешкой.

— Ты, может, думаешь, что сегодня летная погода?

— Что, спутал лошадь с самолетом?

— У тебя в седле сучок или шиш, почему не сидишь спокойно?

Однако при настоящей опасности Сэм, не колеблясь, кидаясь под ноги вставшей на дыбы лошади и оттаскивал меня в сторону. Только один раз он не подоспел вовремя. Буйное животное, истинный дьявол в образе лошади, успело выбить меня из седла и долбануть по спине передними ногами, но тут на него накинулся Сэм.

Я потерял сознание и, наверное, так и остался бы лежать под копытами жеребца, если бы Сэм не отбил меня и не вытащил из манежа.

После нескольких таких эпизодов я забыл о его насмешках.

На банбурр мы так никогда и не вышли.

Стада — несколько тысяч голов — паслись на арендованных лугах миссии, составлявших сто пятьдесят тысяч акров. Скот мог переходить и на неогороженные пастбища в юго-восточной части Арнемленда, тянувшиеся до бухты Лиммен, и к северу от рек Фелп и Роз. Это все были наши угодья — в общей сложности около десяти миллионов акров.

Скот, бродивший по почти безграничным просторам, дичал. Но свободу животных, безмятежно пережевывавших свою жвачку, по крайней мере раз в году нарушало вторжение скотоводов-аборигенов. Эти орущие демоны на лошадях несли с собой унижения цивилизованного скотоводства — жгучие раны клеймения и кастрации.

Я был одним из этих сатиров с темной фигурой человека, с конскими ушами и хвостом, слепшейся воедино с лошадыю, и скакал с раннего утра до поздней ночи за разбегавшимися в панике животными. Из седла я прыгал на них и накручивал на руку их хвосты, пока они не падали, потеряв равновесие.

Это был опасный трюк, который необходимо было выполнить с первой попытки: я скакал рядом с быком, затем

прыгивал с седла и крепко хватал его за хвост, выбегал вперед, туда, где бык мог меня видеть, и старался опрокинуть его. Если удавалось, я кидался на эту грудку мяса, поспешно треножил быка его собственным хвостом и удерживал на месте, пока не подбегал человек с раскаленным клеймом и скальпелем для кастрации.

Вставайте, господни Евнух! Ваше имя — ОТС — на веки вечные выжжено на вашей шкуре кровавыми буквами, которые вспухают и покрываются пузырями. Оно занесено и в регистрационную книгу в Дарвине, так что все, особенно подделыватели клейм, рыскающие у границ наших владений, увидев его, будут знать, что Вы принадлежите миссии на реке Ропер.

Первое животное, которое заклеямили с моей помощью, был годовалый бычок. Сэм Улаганг отделил его от стада.

— С этим нетрудно будет справиться, — сказал он мне. — Смотри не промахнись, не то нам придется пестить тебя домой.

Это был серьезный момент, но я все сделал точно. В последующие годы я валил таким образом сотни бычков.

Ежегодный осмотр был нашей страдной порой. И мы и лошади падали с ног от усталости, скача по девственному кустарнику за животными, клеймя их и подрезая хвосты около тихих водоемов в стране Невер-Невер.

Для молодого аборигена, все достояние которого — конья и племенная земля, да и на ту посягают колонисты, месяц осмотра был полон очарования.

У меня были лошадь и седло с поводами, а на вьючных седлах горшок вместимостью в кварту, одеяло в мешке, запас еды, смена платья и табак. У меня было чувство опасности и власти над животными.

Мы прочесывали открытую местность вокруг билабонгов на берегах рек. В ясные ночи выгоняли на равнины для приманки спокойный скот, у нас он назывался «каре-той». Это были часы смертельной опасности для людей и животных: спасаясь от загонщиков, скот уходил на дневные стоянки в густой кустарник, в надежде, что человек за ним туда не последует.

Но вичуть не бывало. Мы подтягивали подпруги и бросались на стену кустов, оцетинившуюся острыми сучьями и ветками, готовыми подобно рапирам проткнуть нас насквозь. Лошади обдирали бока.

Не знаю, какой благожелательный дух защищал меня

от сучьев во время галопа через хаос кустарника. Скорее всего, в этом лесу смертоносных клинков стоял на страже мой тотем кенгуру. Во всяком случае, я ни разу не покалечился. А ведь товарищи мои часто получали ранения, да и кони тоже гибли.

Случалось, что лошадь ломала ногу или, напорвшись на ветку, прокалывала себе барабанную перепонку. Животное убивали, чтобы избавить от мучительной агонии. Я видел, как мои соплеменники, вне себя от горя, плакали над трупом лошади. Они с ней сроднились, она отвечала ржанием на их свист и понимала, что означает прикосновение колена или легкое подергивание поводьев. Я видел, как люди наносили себе удары ножами и палками и с воплями убегали в лес, когда появлялся главный скотовод с ружьем.

— Бедная моя лошадка! А-а-а-а! А-а-а-а!

Но я видел также, как злые аборигены, «сильные люди» племени, бессердечно обращались с лошадьми, стараясь этим доказать свое превосходство над животными.

Разбивая лагерь, мы использовали мешки и седла как подушки и заслоны от ветра. Эти удобства, придуманные белым человеком, казались роскошью нам, привыкшим, подобно израильянину Иакову, подкладывать под голову камень.

Нам давали с собой муку, чай и сахар, мы могли убить на мясо вола, но редко к этому прибегали. Один из нас выполнял обязанности повара, он же, будучи профессиональным охотником, убивал кенгуру, ловил рыбу и черепах, собирал корни лилий, батат и дикий мед, пока мы разыскивали скот. В те дни я предпочитал нашу привычную пищу, да и сейчас иногда скучаю по ней, когда мне приедаются блюда цивилизованной кухни.

Я несколько лет работал скотоводом; лихо скакал по дьявольскому кустарнику, рискуя здоровьем и жизнью и ни разу не получил ни одного пенни жалованья.

Я никого не осуждаю. Я вовсе не хочу обвинить миссию в скупости. Но факт остается фактом: я, первоклассный скотовод Вайнулданья, не получал жалованья. И никто из моих друзей не получал. Мы никогда не слышали о справедливой заработной плате за хорошую работу, а потому и не ждали ее. Мы охотно работали бесплатно.

В то время я видел деньги очень редко — когда в миссию приезжали посетители. Пока я не стал взрослым, у

меня в кармане никогда не было монеты, да и появился она, и не знал бы, что с ней делать. Раз деньги не съедобны, они были ни к чему. Лишь с началом войны, когда меня мобилизовали в качестве проводника в североавстралийскую разведку, армия настояла на том, чтобы выплачивать мне раз в две недели семьдесят шиллингов — огромное, воистину царское вознаграждение, совершенно бесполезное для человека, который не знает цены деньгам и без них имеет питание и одежду.

Однако факт оставался фактом. В течение длительного периода изнурительной работы мне ничего не платили. За опасную скачку — часто, если светила луна, от зари до полуночи — я получал еду и табак. У миссионеров была книга, которую они называли нашим счетом. В ней были записаны имена всех скотоводов, и рядом с каждым стояли цифры. За заработанные деньги мы могли получить продукты со склада миссии, но я никогда не знал, какая сумма у меня есть и сколько стоит тот или иной предмет одежды. Пока я не покинул миссию, никто ни разу не сказал мне: «Это ты заработал» или «Ты заработал десять фунтов». Ушел я из миссии без пени в кармане.

Табак — вики-вики — представлял собой черные папочки спального наркотика, которые мы заворачивали в газетную бумагу или клали в длинную трубку — лараву. Широкой бумаги не было, а газеты редко попадали в миссию, находившуюся в четырехстах милях от Дарвина. Листок бумаги, пусть неписанный, был для нас поэтому большей ценностью, чем целая газета для городского читателя. Британская энциклопедия, печатающаяся на тонкой бумаге, считалась бы здесь бесценным сокровищем, и тому причиной вовсе не содержащиеся в ней многогранные сведения. От каждого тома очень скоро остался бы только один переплет.

При отсутствии газетной бумаги мы завертываем табак в листья чайного дерева. Иногда я подрезал на зеленой палке кору так, что она отделялась и сползала полой трубкой, а потом наполнял ее табаком. То, что получалось, называлось у нас сигаретой.

Если вы считаете, что никотин не может заменить регулярную заработную плату, я напомню вам, что на Северной территории некоторые миссионеры отказывались выдавать даже табак, ибо курить, по их словам, грешно. Они были твердо убеждены, что это зло надо выкор-

чевывать так же безжалостно, как церемониальное совокупление, детоубийство и некоторые другие преступления перед богом.

Я уверен, что миссионеры искренне в это верили. Точно так же по велению души действовали и миссионеры с реки Ропер, когда отделяли мальчиков аборигенов от девочек и запирали их на ночь в отдельные спальни, чтобы дети леса, голышом игравшие вместе около лагерных костров, не могли испортить друг друга.

И я, разлученный с семьей и родными, тоже спал в детстве в такой спальне, где не имел возможности развратить девочек, в свою очередь запертых на ключ.

Оглядываясь назад на этот акт целомудрия, я могу только заключить, что миссионеры не имели представления о непреодолимых барьерах, разделявших у аборигенов мальчиков и девочек и сводивших к нулю опасность полового общения между ними. Напротив, эта мера могла оказать обратное действие, так как создавала соблазн вкусить запретный плод, которого иначе не существовало бы.

Но отказ в других миссиях от выдачи табака имел куда более серьезные последствия. Миссионерам следовало бы знать, что аборигены, раз познавшие вкус табака, пойдут на все, лишь бы раздобыть его.

Они стали искать другие его источники и нашли их в лице одиноких охотников на крокодилов и буйволов, скотоводов-метисов и работавших у них аборигенов. У этих людей не было женщины, но было сколько угодно табаку, и они страстно желали обменять одно на другое. И обменные операции подобного рода процветали.

Это вызвало такой скандал, что правительство занялось изучением обстоятельств. Одной миссии под угрозой отказа продления аренды на землю предложили возобновить выдачу табака.

Однако, это стало возможным лишь после того, как миссионеры, объявившие крестовый поход против курения, были заменены менее ревностными кальвинистами.

Насколько я помню, в миссии на реке Ропер всегда был какой-нибудь автомобиль: «форд» старой модели, древний «додж», самосвал... Зачем миссия их приобретала — непонятно: на арендуемой ею земле было проложено по лесу не больше пяти-шести миль дороги.

Тем не менее машины были, но я, конечно, не мог тогда предугадать, какое глубокое влияние они окажут на всю мою жизнь.

Алава считают трескучие автомобили изобретением дьявола, хотя с уважением относятся к той пользе, которую из него извлекают белые люди.

Метис Эдвард Херберт сделал первые шаги по пути постепенного превращения меня из человека, передвигающегося на ногах, в человека на колесах. Он заинтересовал меня, показывая, как вспыхивает бензин и действует заплывшая свеча. Хорошо помню, какая борьба происходила во мне. Я всем своим существом верил, что этот огонь, неизвестно откуда возникающий, не что иное, как порождение духов, но в то же время хотел понять, каким образом искры, возникающие не от огня или раскаленного железа, подчиняются воле человека.

Вскоре, однако, я на собственном опыте убедился, что это не сверхъестественное явление, от которого надо бежать, как от злого мулунгувы. Правда, когда Эдвард впервые в шутку пропустил через мое тело ток, я подпрыгнул так, словно мне и в самом деле угрожал мулунгува. Я был уверен, что мотор передал мне таким образом секретное сообщение: однажды, мол, в темную ночь мулунгува пойдет искать меня. Эдвард объяснил мне, в чем дело, и я впоследствии развлекался, подшучивая таким же образом над моими сородичами.

В первый год войны я начал работать смазчиком с Лёсом Перриманом, механиком миссии на Северной территории. Он посвятил меня в тайны двигателя внутреннего сгорания. Теперь я могу разобрать и собрать мотор, даже если его части разложены на большой площади.

Лёс много месяцев занимался со мной и объяснял назначение поршней, колец, магнето, генератора, коленчатого вала, цапфы кривошипа, шатуна и многих других вещей, о которых я раньше не имел ни малейшего представления.

Когда я наконец удержал в своей не приученной к запоминанию голове названия всех мельчайших деталей и понял, какую роль они играют в работе мотора, меня поразили изобретательность и талант его создателей.

У нас в племени не было никаких механических приспособлений, ничего более сложного, чем вумера, к размерам которого подгонялись древки копий, и, уж конечно,

ни одного механизма, где бы сотни частей дополняли друг друга и обеспечивали его бесперебойную работу.

Изучив сложное устройство мотора, я с нетерпением ждал того дня, когда сяду за руль и поведу машину по извилистой дороге вокруг миссии.

Конечно, я не раз делал вид, что уже освоил управление: гордо садился в кабину и поворачивал руль автомобиля, стоявшего в гараже миссии. «Пустяки, — думал я в таких случаях. — Водить эту штуку нетрудно. Справлюсь».

Я рассматривал педали и рычаги, ничуть не сомневаясь, что, когда надо будет, не оплошаю.

Лёс Перриман, однако, не торопился предоставить мне такую возможность. У этого «форда» не было стартера, и Лёс брал меня с собой пока лишь для того, чтобы я крутил заводную ручку. При отдаче ручки назад я часто получал удар по суставам пальцев.

Ну, а вести машину Лёс явно считал своей привилегией. Меня раздрало желание попросить его уступить мне руль, но мешала врожденная сдержанность аборигена.

Но вот однажды, когда я уже меньше всего этого ожидал, Лёс затормозил в трех милях от миссии и сказал мне просто:

— А теперь веди ты!

Я был даже разочарован! Сказки он мне накануне вечером: «Завтра сядешь за руль», я несколько часов радовался бы этой перспективе, снова и снова представлял себе, как это будет выглядеть, репетировал бы свою роль: садился у руля, нажимал то одну, то другую педаль и со счастливым нетерпением ждал бы утра, словно ребенок в предрождественскую ночь.

Вместо этого я в один миг, не успев предвкушить удовольствие и помыслить о нем, был повышен до ранга ученика водителя и сел за руль, совершенно ошеломленный.

Лёс спокойно созерцал окрестности, пока я в растерянности хватался то за одну рукоятку, то за другую, не зная, с чего начать. Он любовался пейзажем:

— Какие могучие чайные деревья! А река здесь какая широкая!

Он явно решил оставить меня во власти механической лошади, а сам выступить в роли вежливого наблюдателя. То ли дело Сам Улаганг! Обучая меня объезжать жеребца, он не упустил ни одной мелочи.

Мне первому из алава предстояло управлять машиной, а Лёс нес всякую чепуху о чайных деревьях и реке.

Тем не менее, когда я вышел из состояния гипнотического транса, стряхнул с себя оцепенение и схватился за руль, как если бы это было горло мулунгувы, явившегося за моим почечным жиром, я чувствовал, что Лёс уголком глаза следит за мной.

— Ну-ка посмотрим, какой вид откроется дальше, — сказал он.

А-а-а! Нотки сарказма, достойные самого Улаганга, милом подстегнули мою энергию.

Я включил первую скорость, чудовище пришло в движение. Тут я потянул на себя кнопку управления ручным газом, чтобы увеличить обороты двигателя.

Увы! Я допустил ничтожную ошибку, но она имела весьма печальные последствия. Я, видимо, вытянул кнопку слишком сильно. Машина резко набрала скорость, как лошадь, переходящая в галоп, врезалась в песок, совершенно некстати оказавшийся на ее пути, и, закусив удила, попыталась вскарабкаться на небольшое чайное деревце на обочине дороги.

Однако, как она ни старалась, сделать ей это не удалось, и машина застряла с задранными кверху передними колесами на дереве, подобно поровнестому жеребцу, не сумевшему взять барьер.

Я испугался, но в то же время обрадовался, что рядом нет моих сородичей, которым никогда не доводилось видеть автомобиль в столь затруднительном положении. Их смех до сих пор звучал бы в моих ушах.

Лёс Перриман заговорил первым:

— Хочешь влезть на дерево?! Не иначе как увидел на верхушке гуану!

Улаганг не сказал бы более ядовито.

Я сидел молча, не зная, как поступить. Наконец отважился спросить:

— Что теперь делать?

— Ты водитель, — отрезал Лёс. — Ты ее туда загнал, ты и вытягивай. И поспеши, тягачей тут нет.

Когда машина наехала на куст, я машинально выжал педаль сцепления, и мотор продолжал работать вхолостую. Потеря горючего беспокоила Лёса, кажется, больше, чем положение машины.

Секунду подумав, я включил задний ход и одновременно

дал газ. Ура! Задние колеса завертелись и стащили машину с дерева. Через несколько мгновений мы уже прочно стояли на всех четырех.

Я думал, что Лёс стонит меня с водительского места и сам поведет машину домой, чтобы дорога не превратилась в скачку с препятствиями. Но то ли он был потрясен больше, чем показывал, то ли еще почему, во всяком случае, Лёс ничего не сказал, когда я повернул машину и осторожно повел ее к миссии, тщательно разглядывая глазами следопыта дорогу впереди, чтобы не въехать в песок или не задеть чайный куст.

Раз или два мне показалось, что Лёс с мрачным видом ухватился за сиденье, но после своих первых оплошностей я мог бы везти даже королеву. Впоследствии я проделал много тысяч миль по лесным дорогам и сотни тысяч за рулем мчащейся на предельной скорости санитарной машины и не имел ни одной аварии.

И все же я не люблю водить машину. Скорее всего, это влияние Лёса Перримана. Мне больше по душе сидеть рядом с водителем и спокойно наслаждаться пейзажем, видя в пробегающих мимо кенгуру потенциальную мишень для моего коноя, а не опасность для автомобиля.

После отъезда Перримана я стал механиком миссии. Целый день чинил моторы лодок, насосов, мельниц, автомобилей, грузовиков электростанций.

Получал я столько же, сколько и объездчик, то есть ничего! Правда, моя увеличивающаяся семья была всегда сыта и одета, а я имел в досталь табак и не жаловался на судьбу. Жизнь казалась мне прекрасной.

В это время — шел 1953 год — произошли события, изменившие всю мою жизнь. Как цыпленок, стремящийся вырваться наружу, я начал долбить скорлупу, которая физически и духовно удерживала меня у реки Ропер.

Никакие эпизоды первых тридцати лет моей жизни не могли внушить мне безграничной веры в доброту белых людей. Напротив, личный опыт убеждал меня в том, что истории об их зверствах, рассказываемые стариками около костров, ничуть не преувеличены. От белого человека, если только он не миссионер, я ничего иного, кроме презрения и жестокости, и не ожидал.

И все же двое из них помогли мне выйти из мрака.

Один был полицейский, второй — врач. Они были добры ко мне, подбадривали, когда я падал духом, и рисовали

редужные видения нового будущего для меня и моей семьи в мире, границ которого я едва коснулся.

Констебль полиции Дэн Спригг и врач медицинской службы Северной территории Спайк Лэнгсфорд первыми поставили меня у подножия скользкого подъема, ведущего к праву гражданства, благодаря которому мое имя из почетного списка опекаемых было перенесено в почетные списки избирателей, и мистер и миссис Робертс, то есть Вайпулданья из племени алава и Анна Дулбан из племени вандаранг, получили окантованные золотом приглашения в резиденцию губернатора, благодаря которому у меня появился дом, так сказать свой семейный очаг, скромный, конечно, дом, но, по моим понятиям, дворец, дающий приют семье из восьми человек, благодаря которому я смог ездить в далекие города и даже страны, а у белых людей возникло желание беседовать со мной, чтобы получить сведения о покинутой мной культуре, которую они всегда с презрением отвергали.

В моей жизни произошла революция.

Я был чернокожим дикарем, жившим по законам племени, типичным аборигеном, джунгайи на языческом празднике Кунанипи в честь Земли-матери и Змеи-радуги.

За год я стал потенциальным гражданином другого мира и хотя не совсем отказался от своих «сновидений» ради Христа, твердо решил стать на новый путь, твердо решил, что мои дети должны носить платье, есть пищу из консервных банок, учиться в школе и иметь право говорить «нет», если им велят поступать против их воли.

Дэн Спригг помог мне подняться. Мне помогли также Спайк Лэнгсфорд, Стэнли Порт, Лёс Перриман и мисс Дав. Мне помог мой дядя Стэнли Марбунггу — гораздо больше, чем это может представить себе человек, не выросший в племени. Сэм Улаганг был для меня, так сказать, руководителем практических занятий, прекрасным методистом. Гарнабас Габарла, мой отец, посвятил меня в законы племени. Мои тотемы, моя земля Ларбарянджи заботились обо мне, старейшины не сводили со всех нас бдительного глаза, следя за соблюдением традиций, распределяя еду и обязанности по системе, возникшей еще в пору «сновидений», внушая мне, что, если кожа моя когда-нибудь и станет белой, сердце всегда должно оставаться черным.

Даже сейчас, когда я лежу между стенами, возведенными руками человека, под железным одеялом, заслоняющим

от меня луну и звезды, мне трудно не откликнуться на зов Ларбарянджи и не вернуться к ней.

Но мне указана дорога вперед.

Передо мной зеленый свет, и я тороплюсь пересечь перекресток, пока на светофоре не сменился сигнал, пока я снова не врезался в чайное дерево.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На этот перекресток я попал в 1953 году, когда меня послали на ферму вверх по реке Урапунга, чтобы привести в порядок мотор, четыре месяца пролежавший под водой.

Я собрал мотор, груды ржавого железа, задавшую дело Маралиови, который выполнял за меня всю грязную работу. Да, да, я недавно поднялся ступенью выше и теперь имел личного помощника, возглавлявшего у меня министерство неприятных дел.

Мотор нужно было разобрать до последней шайбы, сменить проржавевшие распределитель, карбюратор и кольца и поставить новые клапаны.

Мне пришлось долго ждать из Дарвина новых частей. Наконец через три месяца работа была закончена, и я с надеждой включил стартер.

Мотор не дрогнул.

Тут я обнаружил, что провода распределителя неправильно подсоединены к свечам. Я поменял их местами. долгожданная вспышка произошла, и мотор заработал как новый.

Несколько дней спустя я привел катер к полицейскому участку у Ропер Бара. Там я встретил Дэна Спригга, Спайка Лэнгсфорда и его жену Риту — медицинскую сестру.

Доктор и полицейский подошли к катеру и больше часа разговаривали со мной. После их ухода я сообразил, что мне учинили нечто вроде допроса. На следующий день Спригг вернулся один, и от него я узнал, в чем дело.

— Что ты собираешься делать дальше, Филипп? — спросил он.

— Не знаю, — ответил я. — Скорее всего, вернусь в миссию, к своей семье.

В тот момент я ни о чем другом и не думал.

— Ты счастлив? — спросил он.

— Да, — ответил я, хотя не знал, что имеет в виду белый человек, спрашивая об этом аборигена.

— Но ты же не можешь всю жизнь жить как чернокожий, — брякнул он напрямик.

— Как чернокожий! Но я же и есть чернокожий! — ответил я, может быть, немного резко.

— Ты знаешь, что я имею в виду. — сказал Спригг. — Твоя кожа, конечно, цвета не изменит, с этой точки зрения ты всегда будешь черным. Но внутренне ты можешь измениться: будешь работать, жить и мыслить как интеллигентный человек, а не как дикарь.

И хотел было отрезать: «А зачем?», но передумал, так как видел, что он искренне желает мне добра, и вместо этого спросил:

— Где и как мне начать?

— Доктору Лэнгсфорду нужен водитель-механик, — сказал Спригг. — Он собирается в длительную поездку по Северной территории, чтобы во всех правительственных поселениях, миссиях и на фермах обследовать туземцев и оказать им медицинскую помощь. Если ты поедешь с ним, то научишь его обращаться с моторами, а он тебе расскажет кое-что о медицине. И вы оба узнаете, как помочь твоему народу... Это небось лучше надежды на наших колдунов.

Я сказал, что подумаю и дам знать о своем решении. Предложение Спригга казалось мне привлекательным. После войны я ни разу не уезжал с реки Ропер и никогда не бывал в Теннант-Крике, Алис-Спрингсе, Кимберли...

Если я соглашусь поехать, я увижу многие племена: мудбра в Викториа Ривер Даунс, гуринджи на Вейв Хилл, карама, джаминджун, гулаваранг, вайлбри, нгарингман, ванджира, муриванг, гарангуру, варраманга — одним словом, десятки этнических групп, и в каждой из них есть секция, к которой я примкну, как только приеду. У меня появятся новые дядья, отцы, кузены, даже тещи, с которыми я не имею права общаться и на которых не должен смотреть.

На следующий день я известил Дэна Спригга о своем согласии.

— Это хорошо, — сказал он. — Доктор Лэнгсфорд тоже начинал с низов, а теперь достиг вершины в своей профессии. Может, и тебе повезет. Учись у него. Встав на этот путь, больше с него не сворачивай. Не возвращайся в пле-

мя. Читай и работай. Будешь об этом помнить и соблюдать законы белых — станешь когда-нибудь знаменит. Может, твое имя даже появится в газетах.

Эта возможность казалась мне тогда весьма отдаленной. Ведь я был всего лишь невежественный абориген, имя которого можно прочесть только по отпечаткам следов вокруг лагеря в лесу.

— Прославился ведь Альберт Наматжира, художник из племени аранда, — продолжал Спригг. — Может Филипп Робертс, Вайнулданья, станет так же известен.

— Может быть, — согласился я, не очень-то в это веря. Мое великое приключение началось через две недели. Доктор Лэнгсфорд и его жена приехали на вездеходе и попросили меня проверить запасные части. Нам предстояло длительное путешествие по пустынным дорогам, где нет ни гаражей, ни грузовиков с буксиром, ни закусок, ни молочных баров, ни гостиниц, ни мотелей.

Мы направлялись в северо-западную часть Северной территории, необъятный край, раскинувшийся больше чем на сто тысяч квадратных миль, который насчитывал, однако, меньше ста белых жителей.

В этой огромной скотоводческой стране, где ближайших соседей часто разделяло расстояние не менее двухсот миль, когда-то находилась самая большая в мире скотоводческая ферма, Викториа Ривер Даунс, владевшая тринадцатью тысячами квадратных миль земли. Часть ее забрало правительство, но и после этого у фермы осталось шесть тысяч квадратных миль, или три с половиной миллиона акров. Не так уж мало, надо сказать.

Соседняя ферма, Вейв Хилл, была не меньше. В этой стране милями измеряли земельную площадь, а расстояния определяли по времени, необходимому для того, чтобы их покрыть. «Инвервей в полудне пути отсюда», — говорили здесь.

Поэтому нам надо было иметь с собой все необходимое, в том числе и на случай аварии. Я проверил запасные части, инструменты, лопаты, кирки и топоры и убедился, что нам не страшна даже Великая песчаная пустыня. Экспедиция везла с собой запасные баллоны с водой и горючим, три ружья — из них ни одно ни разу не выстрелило, — киноаппараты, крутившиеся непрерывно, и аборигена из племени алава, который в случае необходимости мог охотиться или пойти за подмогой.

В первую неделю я только крутил баранку и следил за мотором. Положение изменилось в Викториа Ривер Даунс, где надо было осмотреть человек сто аборигенов.

В один прекрасный день доктор Лэнгсфорд показал мне какой-то странный аппарат и сказал:

— Это микроскоп. Он увеличивает микробы и другие ничтожно малые величины, которые мы не можем разглядеть невооруженным глазом. Расскажи мне, что ты видишь под этим стеклом.

Я посмотрел в окулярное стекло и поразился тому, что увидел в волшебном зеркале.

— А! Билабонги, реки, холмы и горы,— сказал я.— Это картина земли.

— Не совсем,— сказал доктор.— В хаосе, который открывается твоему взору, есть нечто важное. Ты не можешь его выделить?

— Какой-нибудь ориентир? — Я мог теперь мыслить понятиями фотографа.

— Если хочешь, то ориентир,— сказал он.— Но ориентир особого рода.

Я снова посмотрел, но смог различить лишь долины, деревья, русла рек и очертания земли — так мне, во всяком случае, показалось. Так же как белый человек не замечает прячущихся в лесу кенгуру и птиц, которые хорошо видны мне, так и я был слеп в этом мире линз, призм и увеличенных до неузнаваемости предметов.

Наконец доктор Лэнгсфорд нарисовал мне яйцо глиста. Он объяснил, что его можно разглядеть только в микроскоп и что он виден сейчас на предметном стекле. Я опять приложился к микроскопу и теперь наконец узнал тело, изображенное доктором Лэнгсфордом. Значит, в анализе, взятом в тот день у аборигена, есть яйца глистов.

Я был поражен. Глисты нанесли страшный вред моему народу — это я хорошо понял за годы жизни на реке Ронер. А теперь я впервые увидел источник этого зла.

Закончив в тот день прием, доктор Лэнгсфорд заметил, что микроскоп как магнит притягивает меня. То и дело я подходил к нему и подолгу внимательно вглядывался в стекло. Тогда он принес мне несколько анализов и сказал,

— Ну-ка попробуй, поработай с ними.

Доктор показал, как настраивать аппарат, и оставил его мне для развлечения.

Я клал под микроскоп все, что вздумается. Волос с моей головы выглядел под линзой причальным канатом океанского теплохода, а корни его — ветками с голого дерева. Песчинка превращалась в гору кварцита.

Беспредельное увеличение знакомых вещей казалось мне настоящим чудом. Первое приобщение к медицине поразило меня до глубины души и пробудило желание узнать больше.

Последовали новые уроки. Я научился стерилизовать инструменты в кипящей воде и наполнять шприц для подкожного вливания.

Я видел, как доктор Лэнгсфорд и его жена делали прививки манту сотням моих соотечественников. После каждого пациента они прокаливали иглу над огнем. «Смешно, — думал я. — Разве только раскаленная игла может пробуровать кожу?»

Впоследствии я понял, что это одна из многих предосторожностей, к которым прибегают врачи, чтобы не переносить микробы от одного пациента к другому.

Теперь я поражался полному отсутствию у нас гигиены. Сколько болезней передается в лагерях через общие сосуды для питья, которые никогда не моются! Наблюдая, как лечит больного доктор Лэнгсфорд, я спрашивал себя, приносят ли пользу наши лекарства: будига, гуйя, листья чайного дерева... Действительно ли примочки из настоя прокниженной коры камедного дерева помогают при проказе?

Некоторые аборигены боялись «белого колдуна». Обрезание и знахарские способы лечения были доступны их пониманию. А этот человек с его стеклянными и железными москитами...

Доктор Лэнгсфорд говорил своим перепуганным пациентам:

— Подойди, парень, поближе, дай москиту укусить тебя. Внутри ничего не войдет, он укусит только кожу.

Как-то один укушенный произнес:

— Мандайдж!

Я перевел доктору:

— Больной сказал: хорошо!

С тех пор доктор после каждого укола говорил «мантайдж!». Это было единственное слово, которое он запомнил, но люди думали, что он знает их язык, и почти все шли к нему без всякого страха. Еще бы: человек, кото-

рый может сказать «хорошо!» на диалекте мудбра, должен знать, что он делает!

Но однажды в Мулулу на прием привели группу аборигенов, живших в лесу. Увидев рыжебородого доктора Лэнгсфорда и медицинские принадлежности, пациенты просились наутек.

Меня и еще одного аборигена по имени Бобби Булгар послали в погоню за ними, в страну Ровер. Мы нашли следы беглецов в высохшем русле реки. Пригнувшись к самой земле, чтобы их труднее было заметить, они бежали со всех ног, стараясь как можно дальше уйти от «белого дьявола» с фермы. Они были объаты ужасом, и мне долго пришлось уговаривать их вернуться.

— Доктор только хочет взять у вас немного крови, — начал я, но эти слова испугали их еще больше.

— А-а-а-а! О-о-о-о!

— Будьте разумны. Это не больно, — настаивал я. — Он еще хочет послушать ваши сердца в стетоскоп — трубочку без проводов.

— Э-э-э-э! О-о-о-о!

— Будьте разумны. Вы ничего не почувствуете.

— У него злая иголка, она жалит как оса.

Наконец я применил свои собственные колдовские чары. Все аборигены верят в то, что для поддержания жизни человеку важнее всего его ветер. До недавнего времени мы не знали, что сердце заставляет кровь двигаться по артериям и венам. Мы были убеждены, что кровь под кожей дремлет.

Иное дело ветер. Сердце, действующее наподобие мотов, нагнетает ветер в тело человека, выталкивает его наружу, и находящийся внутри дух может дышать. Я знал, что могу сыграть на этом поверии.

— Доктор хочет выяснить, не слабеет ли у вас ветер, — сказал я. — Он послушает вас в трубочку без проводов и узнает, хватит ли ветра.

Это устранило все сомнения. Аборигены вскарабкались на грузовик и скоро уже ссорились из-за очереди к доктору, подставляя обнаженные руки и грудь для любого обследования, которое он счел бы нужным сделать.

— У меня достаточно ветра? — спросил первый.

— Полным-полно, — ответил доктор. — Словно ураган внутри.

Старик сделал глубокий вдох и с нежностью погладил

свою покрытую шрамами грудь. Лицо его преобразила довольная улыбка.

— Хорошо, — обрадовался он. — У меня внутри полным-полно ветра.

В тот момент самый дорогой подарок не доставил бы ему большего удовольствия.

Я внимательно наблюдал, что делал доктор, пока перед ним проходили пациенты. Он ловко орудовал шприцом и стетоскопом и опытной рукой прощупывал нерв у локтевого сустава: его воспаление — верный симптом проказы.

Обнаружив проказу, доктор говорил просто:

— Старица, у тебя эта самая болезнь. Мы тебя скоро отвезем на большом самолете в Дарвин. Что ты на это скажешь? Никто из здешних людей не летал на самолете. А ты полетишь. И все расскажешь, когда вернешься. Вот так... Увидимся в Дарвине.

Еще один прокаженный... Доктор записывал его имя, чтобы в очередной рейс санитарный самолет забрал больного в лепрозорий... Если тот до этого не сбежит.

На следующий день доктор объявлял результаты прививок манту, а миссис Лэнгсфорд заносила их в список против фамилии каждого пациента. Меня поразила манера доктора выражаться.

— Плюс пять, отрицательный! Положительный!

— Разве у нас в теле, как и в моторе, есть электрический ток? — поинтересовался я.

— Не совсем, — рассмеялся доктор, но, осматривая следующего пациента, специально для меня сказал жене:

— Плоская батарейка!

Дальше наш путь лежал на Вейв Хилл и в селение Хукер-Крик на краю пустыни Невер-Невер, большой, как мир. В дороге, во время привалов на обед и на ночлег, я рассказывал доктору все, что знал, о наполненных бензином артериях, об электрической нервной системе, о механических конечностях и суставах, приводящих в действие нашу машину и заставляющих ее двигаться.

— Она не может обойтись без бензина и воды, — говорил я. — Без воздуха в шинах мы бы тоже далеко не уехали.

А доктор Лэнгсфорд рассказывал мне о человеческом механизме.

— И нам необходимы горючие, вода и воздух. Без них мы бы умерли. Разница между механизмами и челове-

оскими существами в том, что у нас есть мозги, позволяющие думать. А у автомобилей их нет.

— Не уверен, — возразил я. — Мне приходилось водить машины с таким своевольным характером, что каждый дюйм дороги я брал с боя. Но встречались и очень покладистые автомобили, легко слушающиеся руля.

В Хукер-Крике мы встретили среди аборигенов совершенно примитивных людей — вайлбри с северо-запада, которые пришли из пустыни за Танами и из еще более дальних мест — из негостеприимной губительной страны, где они тем не менее умудрялись находить воду, необходимую для жизни.

Я слышал об этих кочевых племенах, живущих так же, как жили на реке Ронер мои предки больше ста лет назад. Не имея связей с людьми других рас, они пользуются деревянными и каменными наконечниками для копий, от которых мы отказались еще при жизни моего деда. Но в то время как у алава сколько угодно воды и пищи (в реках и безбрежном океане обитают рыбы, черепахи, крокодилы), племена вайлбри и даже еще более примитивному народу — пинтуби живется исключительно трудно. Я рад, что хлеб свой насущный нам не приходится добывать так, как аборигенам пустыни.

История пинтуби уходит в далекую древность. О замечательной судьбе этого народа, который сумел выжить, вероятно, никогда не будет рассказано. В 1958 году правительственные патрули обнаружили несколько групп пинтуби, которые никогда раньше не видели белых людей и самых обычных предметов обихода — зеркала, расчески, какой-либо одежды или продуктов питания — чая, муки, сахара.

На площади в десять тысяч квадратных миль, граничащей с Северной территорией и Западной Австралией, патруль обнаружил среди песков и спинифекса³¹ шестнадцать так называемых источников воды, из которых только четыре были постоянными. В поисках подземных протоков пинтуби долбят твердый грунт острыми палками. Одна яма, выкопанная этими примитивными орудиями, достигала в глубину пятнадцати футов. Воды в ней не оказалось.

³¹ С п и н и ф е к с — трава, характерная для австралийских пустынь и степей.

Главный источник питания пинтуби — кенгуровые крысы с хвостами в белых крапинках. Край этот так беден, вода в нем встречается так редко, что кроликов и кенгуру здесь почти нет. Крысы дополняют сочные личинки, которые водятся на корнях кустов витчерти, смола с кустарника мультги и эвкалиптов, семена йелимбаи (пинтуби толкут их в муку), какаду — подсолнечник пустыни, крупный ямс яллах, который дает одновременно и пищу и воду.

Для этих людей вода — жизнь. На их диалекте «вода», «жизнь» и «лагерь» обозначаются одним словом, то есть все три понятия — синонимы. В некоторых подземных протоках вода сочится еле-еле, за сутки ее набирается не больше галлона. Целые общины существуют этими скудными запасами, и для обитателей пустыни местонахождение источника — тайна племени, которую никогда не выдают чужакам.

Что пинтуби думали обо мне, искушенном черном человеке, происходящем из той же, что и они, мужественной расы, которая пятнадцать тысяч лет назад завоевала континент? Что они думали об аборигене, который остриг себе волосы, выбрил лицо, надел ботинки и платье и сел за руль автомобиля? Но если даже это их удивляло, то что же должны были думать обитатели земли, не знающей белого человека, о самолетах, пролетавших над территорией их племени? За кого они принимали этих чудовищных механических птиц? Каким образом народ, никогда не видевший колеса, мог понять машины, сменившие колеса на крылья?

Но даже среди этих людей каменного века я нашел подтверждение того, что предки у нас общие. Вскоре после нашего приезда ко мне подошел голый грязный старик, весь заросший волосами, и спросил через переводчика:

— Ты из какой «кожи»?

— Бунгади, — ответил я.

— А! Я твой дядя. А вот твои племянники.

Через несколько минут молодые люди, только что явившиеся из пустыни, называли меня дядей.

В этой стране я впервые увидел огромные следы человека-демона, отпечатки ног, которые если и принадлежали человеку, то только какому-нибудь доисторическому обитателю пещер. Но в конце концов находили ведь в Гима-

ных еще более странные следы и верили, что они оставлены человеком.

Следы потрясли меня. К счастью, со мной был Бобби Булгар, который объяснил, что это такое, иначе я, возможно, спустился бы в русло крика, пригнулся пониже и постарался уйти как можно дальше от этого места.

— Здесь проходил верблюд, — сказал он.

Через несколько минут мы догнали животное, оставившее следы. Горбатый гигант пыльно-желтого цвета спокойно что-то пережевывал и не внушал ни отвращения, ни ужаса. Он попал сюда с афганскими погонщиками, которые через песчаные дюны и бесконечные заросли синифекса, покрывающие центральную пустыню континента, везут товары для женщин Запада.

При малейшей возможности я хватался за микроскоп и вскоре научился пользоваться им не хуже опытного патолога. Доктор Лэнгсфорд показал мне, как читать анализы и исследовать кал на глисты, острицы и солитер. В конце концов я получил почетное задание делать анализы на каждой ферме.

Однажды доктор спросил:

— Филипп, хочешь послушать сердце в мой фонендоскоп?

Хочу ли я! Простая трубочка без проводов, в которую можно было услышать сердце и легкие, уже давно влекла меня.

Я приладил наушники, а доктор Лэнгсфорд приложил фонендоскоп к груди старого аборигена.

— Что ты слышишь? — спросил он.

— Гайки и винты разболтались, — ответил я. — В клапанах шум. Подшипник, видимо, поизносился. Да и поршень стучит.

Доктор засмеялся, но я-то говорил совершенно серьезно. Для меня человеческое сердце было мотором, который в зависимости от срока своей службы и состояния давал равномерные вспышки во всех цилиндрах или допускал перебой. Прислушиваясь, я мог определить, хорошо ли работает мотор. У того, который был сейчас передо мной, надо было по крайней мере отшлифовать клапаны.

— Забудь о моторах и расскажи, что ты слышишь — сказал доктор.

— Волны с грохотом бьются о берег, одни ударяются тяжело, другие полегче. Вот идет новый вал...

Старый вайбри, унизившийся до того, что его грудь прослушивал с помощью приспособления белого человека такой же абориген, как он сам, посмотрел на доктора и приложил указательный палец к виску.

— Может, этому парню надо в голове сделать смазку, а? — спросил он.

Все три месяца, пока я ездил с доктором Лэнгсфордом, он платил мне жалованье из своего кармана. Выполняя поручение правительственной службы здравоохранения, доктор работал с утра до вечера в таком отдаленном уголке земли, где просто нельзя обойтись без помощника. Тем не менее правительство считало, что в нем нет необходимости. И доктор платил мне из собственных средств.

Я остался навсегда благодарен доктору: поездка с ним изменила всю мою жизнь. Я знал, что хотя и вернусь в свое племя на реке Ропер, но никогда уже не забуду общения с доктором. Благодаря ему я понял, как нужна моему народу медицинская помощь. И когда мне потом снова предложили подобную работу, я не колебался ни минуты. Сейчас, в 1962 году, я продолжаю работать санитаром в больнице и водителем санитарной машины.

Доктор Лэнгсфорд не только платил мне жалованье. Когда мы возвратились в Дарвин, он оплатил билеты на поезд и самолет для всей моей семьи.

Впервые в жизни Анна Дулбан из племени вандаранг, жена Вайнулданы из племени алава, увидела населенный пункт, больший, чем миссия на реке Ропер.

Магазины, нескончаемые ряды домов, неоновые огни, сотни легковых и грузовых машин восхищали и пугали ее. В конце концов страх взял верх над восхищением, и она попросилась обратно домой, где на просторах бродят кенгуру, где находится Ларбарянджи, племенная земля ее мужа, где есть баррамунди, яйца черепах, корни лилий. Ее тянуло прочь от города больших и дурных вещей: кинобоевиков на широком экране, от продажи из-под полы спиртных напитков в кустах и на москитных болотах около селения аборигенов Багот, от распущенности и безнравственности его разношерстного населения, которое утратило связи с племенем и лишилось законов, установленных их «сновидениями».

— Билеты, пожалуйста, доктор Лэнгсфорд.

И он оплатил проезд Анны и детей обратно на Ропер. Я тоже решил, что мне пора сбросить цивилизованное

платье и снова стать аборигеном, пока я не научился выживать животных, охотиться и ходить без усталости.

— Увидимся на Ропер, — сказал я Анне. — От Матаранки я пойду пешком. Мне необходимо поохотиться.

Вскоре после рождества, в разгаре знойного тропического лета, на берегу реки Уотерхауз, сближающейся здесь с шоссе Стюарта, я встретился со старым аборигеном-торговцем.

Мне нужны копы для путешествия, — сказал я. — Два копы с железным наконечником и два для рыбной ловли. Могу обменять их на деньги и на табак.

— Далечно ли ты собрался? — поинтересовался торговец.

— В Ларбарянджи. К алава, что живут за отмелью на реке Ропер. К моей семье. К моему отцу Барнабасу Габарде, к моему дяде Стэнли Марбунггу. К Сэму Улагангу, охотнику и объездчику лошадей...

— Это далеко, — сказал торговец. — Ты будешь идти много месяцев.

— По меркам белого человека — сто пятьдесят миль. Я подсчитал, что пройду не больше двух месяцев. Попутно побываю у друзей: у мангараи на ферме Элси, где похоронен старый Малука; у налакан в долине Ропер; у янгман в Мороаке; у ритарригу в Уранунге.

— Ты понесешь подарки?

— Да, — ответил я, а про себя подумал: «Могу держать пари, что нагрузусь как верблюд, если этот старый болтун раззвонит по всему свету, куда я иду».

— Я принесу тебе копы, — сказал он.

После этого я два месяца жил по примеру своих предков: охотился на кенгуру и гуан, чему меня учил Сэм Улаганг, бил копыем баррамунди, что умел еще с детских лет, выкапывал корни лилий из билабонгов, варил пиццу на камне, который разжигал с помощью палочки будулар.

Я переходил в брод крики и переплывал реки. Платье и подарки я клал на ванбирибири — плот из палок чайного дерева и лиан и толкал его перед собой, а сзади выставлял копы, чтобы проткнуть им любопытную морду крокодила, если он увязался бы за мной. Я готов был в любой миг немедленно пустить копы в ход, чтобы сражаться в грязных речках за свою жизнь со зловонным чудовищем.

Но меня никто не тронул, и я охотился, сколько хотел, бил копыем рыбу, когда она была, ходил голый под дож-

дем и под солнцем, то дрожал от холода, то потел от жары, а на ночь залезал в немудреный шалашик из коры, которую сдирали с деревьев.

Я снова стал независимым человеком, живущим на неоскверненной земле, владельцем территории на реке Ропер, освободившимся от сбруи цивилизации, от порабощения мукой, чаем и сахаром. Чувства мои обострились, как у животного, но и прежние страхи вернулись ко мне. На ходу я оглядывался, не идет ли за мной следом пигмей-бурджинджин, глаза мои старались проникнуть в каждый куст, чтобы выведать его секреты.

Начались дожди, я промокал до нитки. Зигзагообразные молнии под громовой аккомпанемент неба расщепляли деревья вокруг меня.

На ферме Элси, в стране Невер-Невер, где живут энеасгуни, ко мне подошел человек:

— Ты идешь в миссию на реке Ропер. Там живет моя бедная мать. Прошу тебя, передай ей подарок.

И он вручил мне отрез ситца и палочку-письмо³² с насечками.

— Скажи, что я думаю о ней,— он дотронулся до одной насечки.— Скажи, что я здоров,— он дотронулся до другой.— Скажи, что внуки ее тоже здоровы,— он дотронулся до третьей.

На палочке было еще несколько насечек, и по их числу я получил поручения.

В Мороаке ко мне тоже подошел человек:

— Ты идешь в миссию на реке Ропер. Там живет мой бедный дядя. Прошу тебя, передай ему этот подарок,

И он вручил мне палочку-письмо.

На отмели ко мне подошел человек:

— Ты идешь в миссию на реке Ропер. Там в больнице лежит моя бедная жена. Прошу тебя, передай ей этот подарок.

И он вручил мне палочку-письмо:

— Скажи ей...

Как я и предвидел в Дарвине, я превратился в бесплатного почтальона, нагруженного рождественскими подарками, а до миссии было еще очень далеко. И к каждому

³² «Палочка-письмо», или «палочка-вестника», — деревянная палочка с насечками, с помощью которых передаются сообщения.

подарку прилагалась палочка-письмо, значит, я должен был держать в памяти десятки подробностей о ее адресате.

Последние сорок миль моего пути пролегали по сплошному болоту. Нагруженный, как дед-мороз, я брел по шкелотку, а то и по колено в грязи и воде. Плоты ван-бирибири, на которых я переправлял подарки через крики и реки, стали намного больше. Если я преследовал кенгуру, то потом мне приходилось возвращаться за подарками, иногда за несколько миль от места, где я убил животное.

Но слух, пущенный старым торговцем с Уотерхауз, достиг не только промежуточных пунктов на моем пути, но и миссии на реке Ропер.

Роджер Гунбукбук, тот самый, который в детстве упал с лошади и сломал себе ребра, и Деннис Мурулбур вышли мне навстречу.

— Бедняга наверняка тащит подарки, — решили они. — Надо бы ему помочь.

И вот как-то раз, когда я шлепал по грязи, не забывая, что рядом со мной могут обитать злые духи, я неожиданно заметил вдали темную фигуру.

— Мулунгува рыщет, — подумал я. — Надо быть начеку. Но тут я заметил вторую фигуру, увидел, что люди машут мне руками, и узнал друзей.

Поверьте, ни один загородный почтальон, в канун рождества вручивший адресату последнюю посылку, не испытывал такого облегчения, как я, освободившись от своей ноши.

Пятью месяцами раньше я покинул Ропер как искушенный помощник белого доктора, знающий толк в машине, и с тех пор познал на практике, что приводит в действие человеческий мотор.

Теперь я возвратился так, как всегда возвращались охоты мои предки: пешком, почти голый, неся копыя, которые кормили меня, пока я шел и плыл сто пятьдесят миль; копыя, которые защищали меня от пигмеев-бурджин-джищов и крокодилов и вопреки рассудку действовали успокаивающе, когда громовые гиганты Яминджи сражались между собой, а старый Губиджиджи, человек дождя, заставлял женщин плакать на небе.

Не притомню, чтобы у нас кого-нибудь встречали так тепло, как меня. Уважение, оказываемое соплеменниками, поражало и смущало меня.

Они знали, что я ездил с белым доктором к далеким племенам. Впереди меня шла молва о том, что я был его помощником и умел перевязывать раны, пользоваться микроскопом, делать уколы, но я никак не мог предположить, что мне наивно припишут способности, которыми я вовсе не обладал.

Насколько я поднялся в общественном мнении, я понял однажды утром, когда помогал сестре Джеме в больнице миссии.

Обрабатываягноящуюся ранку на руке девочки, я услышал, как один старик спрашивает около двери доктора.

— Доктора сейчас нет, — ответила сестра Джеме. — Он прилетит на санитарном самолете в будущем месяце.

— Я к доктору Вайпулданье, — сказал старик серьезно.

— Доктору Вай...

— Ваджири-Ваджири, — назвал он мое второе имя и, видя, что сестра так и не понимает, о ком идет речь, добавил: — К Филиппу.

— О, к Филиппу! — Сестра Джеме рассмеялась. — Он не доктор... Пока, во всяком случае.

— Как так! — возмутился старик. — Он теперь настоящий доктор алава, ничуть не хуже белого.

Старику никогда не понять, что доктор должен шесть лет проучиться в университете и сдать много экзаменов.

— Ну хорошо, все равно, что с тобой? — спросила сестра, теряя терпение. — Может, я помогу?

— Нет, нет, нужен доктор Вайпулданья.

Сестра Джеме, опытная фельдшерница, получившая специальное образование, знала несравненно больше меня. У нее были дипломы, подтверждавшие это, которых не имел я. Но что до того старому аборигену? Она была женщина, я был мужчиной, а последнее, с точки зрения любого аборигена, важнее всего.

Я закончил девочке перевязку и вышел из комнаты, как раз в тот момент, когда он повторил:

— Нужен Вайпулданья...

— В чем дело, старина? — спросил я как можно более

профессиональным тоном. У сестры Джеме был немного обиженный вид.

— А, Вайпулданья... Доктор... Я покалечился... Совсем покалечился...

— Где?

— А вот здесь, на ноге... Нужно лекарство для втирания.

Сначала старик отказался от помощи сестры и потребовал меня, а потом сам назначил себе лечение.

Сестра Джеме снова рассмеялась, от обиды не осталось и следа. Она дала мне бутылку с жидкой мазью, и я осторожно втер ее в бедро старика.

На следующее утро он возвратился с десятком своих друзей. У всех у них были болячки на ногах, все хотели, чтобы я втер им мазь. Слава о моих медицинских способностях распространялась быстрее ветра.

— Моя нога стала лучше, больше не болит, — говорил старый абориген. — Доктор Вайпулданья ее вылечил. Я знаю, прежде он чинил автомобильные моторы, из старого делал новый. Он лечил автомобили, а теперь лечит и людей тоже.

Моя жизнь в миссии напоминала теперь положение знаменитого специалиста, который пришел в гости. Женщины и мужчины круглые сутки досаждали мне жалобами на боли в груди, животе, голове, показывали болячки на ногах, руках, глазах...

— Доктор Вайпулданья исправит их? — спрашивали они.

Что мне оставалось делать, как не раздавать направо и налево втирания и аспирин? Я вылечил аспирином больше тяжелых заболеваний, чем считали возможным даже сами фармацевты. Важно было одно — чтобы пациенты в него верили.

Месяц спустя я узнал, что в миссию приедет с рентгеновским аппаратом доктор Джим Тарлтон Реймант и проведет обследование жителей на туберкулез. Вот когда мой авторитет подвергнется испытанию: кому как не мне придется успокаивать мужчин, женщин и детей, которые считают дьявольским изобретением чудесный аппарат, умеющий заглядывать в их внутренности и рисовать кости.

Будучи с доктором Лэнгсфордом в Дарвине, я видел

рентгеновский аппарат, но мне ни разу не попадался на глаза проявленный снимок. Увидев его впервые, я испытал некоторое разочарование. Такой сложный аппарат мог бы делать снимки и получше, по крайней мере цветные, в трех измерениях... Вместо этого передо мной был довольно неясный черно-белый отпечаток скелета. Но, сообразив, что аппарат заснял костяк человека, защищенный кожей и потому невидимый, я поразился его могуществу.

«О да,— подумал я про себя. — Это умная машина». И вот доктор Тарлтон Реймант приехал. Управляющий миссией Перси Леске представил меня ему. Доктор был симпатичный человек, хотевший во что бы то ни стало научиться играть на диджериду, но извлекавший из него такие забавные звуки, что мы все покатывались со смеху. А тут еще его десятилетний сынишка Джимми овладел этим искусством, что окончательно уязвило гордость доктора. Впрочем, это нанесло удар и моему самолюбию — с диджериду я был решительно не в ладах.

— Мне о тебе рассказывал доктор Лэнгсфорд, — сказал Тарлтон Реймант. — Не согласишься ли ты помочь? Сначала мы будем работать здесь, в миссии, а затем поедем на реку Роз, на остров Грут-Айленд, в Умбакумбу.

Я был очень рад, и мы начали делать снимки.

Доктор Реймант показал, как заряжать кассету и проявлять снимок. Дел у меня было по горло, но тем не менее приходилось находить время, чтобы успокаивать напуганных людей, увидевших первые снимки.

— Приготовься... Задержи твой ветер,— говорил я. И взрослые мужчины отчаянно боролись с собой, чтобы не выказать охвативший их ужас.

Они были знакомы со снимками лица, глаз, носа, рта, тела, кожного покрова и даже подсмеивались над ними. Иное дело снимок костей! Этого они понять не могли, и тут уже было не до шуток.

Первый проявленный мною снимок с изображением грудной клетки Джеки Илианьиньи я показал ему:

— Смотри, старина, вот что у тебя там внутри.

Он секунду смотрел на снимок в полном недоумении, а затем начал причитать.

— Горе мне,— вопил он.— Я дьявол, я дух!

В представлении аборигена кости означают смерть, а смерть ассоциируется с дьяволами или духами. Многие,

видя на снимок своего позвоночника, были уверены, что видят свой дух.

— Так вот во что я превращусь после смерти... В одни моменты,— плакали женщины.— А-а-а-а! Это все, что останется от меня. Горе нам!

— Похоже на буйвола,— сказал один мужчина.

— Нет, нет, больше похоже на кенгуру, ставшего на задние лапы.

— Дьявол, дьявол! Под нашей кожей сидит дьявол! Рентгеновские снимки ясно показали их будущее: смерть, разложение, кости на погребальном помосте галла-гулла.

Стараясь успокоить каждого, кто видел свой снимок, терпеливо объяснял:

— Это волшебная машина. Она заглядывает внутрь, но вовсе не ищет там духов. Она разыскивает болезнь и если находит, то помогает сохранить тебе жизнь. Доктор видит, что у тебя внутри сидит хворь, и даст лекарство, пока не поздно.

Мне удавалось уговорить немногих. А пунгубуйю на реке Роз были напуганы даже больше, чем алава. Они меньше соприкасались с белыми врачами. При виде первых снимков несколько человек тотчас же убежали в лес.

Но мне моя работа нравилась. Доктор Реймант показал мне, как направлять аппарат. Я умел уменьшать экспозицию до трех секунд для ребенка и увеличивать до пяти для взрослого мужчины. Я готовил растворы проявителя и закрепителя, а потом доктор научил меня читать негативы. Через несколько недель я считал себя уже опытным рентгенологом.

Может, я когда и ошибался, но, во всяком случае, доктор Реймант доверял мне. Почти все снимки я делал самостоятельно. На Грут-Айленде мне помогал андильяугван по имени Билли Набия. Впоследствии он поехал в Дарвин, там стал помощником лаборанта, а потом вернулся на родину и работал среди своего народа.

При осмотре мы, естественно, выявили много случаев туберкулеза. Больных отправили в больницу, в Дарвин. Большинство из них вылечилось и благополучно вернулось к своему племени. Люди, которым я делал снимки много лет назад, до сих пор регулярно приходят ко мне на просвечивание. Таким образом приостановлено

распространение туберкулеза, прежде косившего мой народ.

За это время очень возросли мои познания в области элементарной медицины, а вместе с ними и моя репутация. Каждый день мы принимали десятки людей, жаловавшихся на боль в ушах и глазах, страдавших блефаритом, трахомой, фрамбезней и другими недугами, распространенными среди аборигенов. К сожалению, по-прежнему было много прокаженных.

Как и Лэнгсфорд, доктор Реймант учил меня узнавать проказу по воспалению нерва около локтевого сустава, по изменениям лица, в частности носа, и конечностей, особенно при наличии изъязвлений.

Проказу я считал своим личным врагом — ведь она убила мою мать, а брата на двенадцать лет изолировала от людей. К сожалению, у нас не было действенного оружия для борьбы с ней. Хотя мы делали все, что могли, каждый раз, обнаруживая нового больного, я испытывал чувство бессилия. Мне казалось странным, что ученые, которые нашли способы лечения других коварных болезней, изобрели сложные машины, например рентгеновский аппарат, видящий, что делается внутри человека, не могут справиться с болезнью, существовавшей еще до возникновения христианства.

В том же году, после того как я проработал несколько месяцев в лаборатории в Дарвине, я полетел с доктором Реймантом в северо-восточную часть Арнемленда — в Йиркала. Там мы осматривали джабов, гомайд, далвангов, мангалилли, гобабоннгов и джамбабоннго.

По мнению историков, обитатели северной части Арнемленда — прямые потомки индийских дравидов, которые достигли Австралии на плотках или по сухопутному перешейку, якобы существовавшему много лет назад. Они смешались сначала с малайскими и макасарскими торговцами, задолго до белых мореплавателей пересекавших океан на своих прау, а затем с десятками других племен, и все же в их облике сохранилось что-то азиатское.

Я бывал в Йиркала и раньше, знал немного язык моей матери — джамбабоннго и отца — гобабоннго и мог служить доктору переводчиком. Мои услуги были нужны ему не меньше, чем у алава, в трехстах милях отсюда. То и дело мне приходилось объяснять этим невежествен-

и людям, зачем мы привезли рентгеновский аппарат и что собираемся делать.

Доктора Рейманта отозвали в Дарвин, а я остался в своей миссии и продолжал бороться с племенными предрассудками. Через месяц я погрузил ценное оборудование на люггер миссии «Ларрапан» и отвез его сначала на остров Элко, а потом на остров Гоулбери. Туда приехал и доктор Реймант.

На Гоулберне я впервые встретился с маунгами. Это равносильно первой встрече негров и индейцев. всю свою жизнь я жил в четырехстах милях от острова Гоулберна, но никогда не слышал о маунгах. Их язык был мне непонятен. Гоулбери отделен от реки Ропер труднопроходимой возвышенностью на полуострове Арнемленд, поэтому до моего появления здесь между маунгами и влава не было контактов.

И у тех и у других кожа черная, больше их ничто не связывает. Племена из Йиркалы праздновали кунаппинг, хотя бы это роднило нас, но на Гоулберне не знали, что это такое. Наверное, точно так же — иностранцем в чужой стране — я чувствовал бы себя в Вест-Индии. И все же, когда мне удалось в конце концов преодолеть языковые барьеры, я и здесь нашел братьев и сестер, отца и мать и, уж конечно, тещу, которую должен был прогнать.

Объяснялись мы по-английски, так что вначале от меня было мало толку как от переводчика. Но вскоре я научился понимать их речь, а через месяц уже обходился без инджин-инглиш. Так за несколько лет работы на Арнемленде я овладел четырнадцатью самостоятельными диалектами.

Не подумайте, что это легко. Иногда мне хотелось плюнуть на все и уйти, и останавливало лишь сознание того, что я приношу пользу, убеждая этих людей изменить. Наши языки обременены многочисленными синонимиями. Часто меня вводили в заблуждение различные значения одного и того же слова. У джабу в Йиркале, например, «бойюга» означает «огонь», а в Манингриде — «дикое яблоко». Андияутван «огонь», называют «унгура», а нгулкпун в Майнору — «нгура».

Представьте себе, какое огромное число вариаций имеют хотя бы сто слов у пятидесяти племен. Мне же надо было знать не сто слов, а значительно больше, а

только на одной Северной территории проживает двести племенных групп аборигенов.

И ни одна не имеет словаря!

Я теперь подолгу не виделся с семьей, но все же был счастлив, как никогда. У меня появилось чувство удовлетворения оттого, что я делаю нужное дело. Жизнь моя приобрела смысл, о котором я прежде не мог и мечтать.

Пока я жил с племенем на реке Ропер, на земле Ларбарянджи, которую до сих пор считаю своей, меня ждала в будущем лишь полукочевая жизнь. Я мог оставаться на одном месте, пока хватало кенгуру и валлаби. Как и мои предки во Времена свидений, я думал о пище, о воде, о своей должности джунгайи при исполнении наших ритуалов...

Теперь я покинул племя и поля, что в жизни есть нечто большее, чем охота и выслеживание животных. Но однажды я испытал горькое разочарование. В тот день — мы были на острове Крокер — доктор Реймант сказал:

— Филипп, я возвращаюсь в Дарвин. Но у меня есть работа, которая по силам только тебе.

«Может, — подумал я, — это вежливый способ отказаться от моих услуг, сказать, что он мне больше не доверяет?» Мы уже много месяцев работали вместе, и я старался быть внимательным. Не было случая, чтобы я не пришел в назначенное время. Этим я отличался от своих соплеменников, которые, к сожалению, обычно уходят на охоту именно тогда, когда они больше всего нужны. Я отказался от всех своих привычек и старался жить и вести себя, как белый. А доктор предлагал мне вернуться обратно к жизни чернокожего!

— Я хочу, чтобы ты прогулялся, — сказал он.

Так обычно на фермах увольняли рабочих, ставших ненужными, и я это прекрасно знал.

Я был поражен. С огромным трудом ухватился я за перекладину стремянки, так неужели теперь мою руку сорвут с нее? Неужели меня изгоняют из общества, когда я уже стоял на пороге и собирался присоединиться к нему? Неужели петличка, связывающая меня с новым миром, порвется в тот самый миг, когда я думал, что она стала крепче? Или меня, как мячик, можно подкидывать вверх и бросать вниз по прихоти белого человека? Неужели он может распорядиться мной, как ему заблагорассудится?

Прогулялся! — вскричал я в ярости. — Прогулялся! — На сердце легла тяжесть.

Да, я хочу, чтобы ты прогулялся, — повторил он и, заметив наконец мое возмущение, добавил: — Но это будет не обычная, а медицинская прогулка. Я хочу, чтобы ты разыскал и осмотрел твоих сородичей, кочующих в лесах... маунгов, валанг, ивайжа, живущих на Арнемленде, между островом Крокер и Оэниелли... по Куперс-Крику, Мургенелле и Биррадуку. Ты — единственный, кто может это сделать.

Доктор говорил ласково. Глаза его просияли, когда он заметил, как огорченное выражение сменилось на моем лице улыбкой. Меня охватила радость, в тот миг я любил этого белого человека, ставшего моим другом во время совместной работы ради любимого нами обоими народа. Этот белый трудился на благо черных до тех пор, пока годом позже не умер от сердечного приступа.

Я пойду, — сказал я с готовностью. — Когда надо выходить?

Как только будешь готов, — ответил он. — Возьми с собой двух человек — носильщика и переводчика. Я заметил, что ты разговариваешь с ивайжа по-английски. Ты что, не знаешь их языка?

Ничто не ускользало от его внимания.

Знаю, но плохо. Я учусь.

Мы получили сведения, что у них проказа, — сказал доктор. — Я не удивлюсь, если выяснится, что племена срывают больных. Они еще боятся лейкозориев. Если найдешь прокаженных, твоя задача — убедить их лечиться. Возьми с собой медицинскую сумку и лечи все болезни и болячки, которые сможешь правильно определить. Больше я ничего не могу сказать. Тебе предстоит идти долго.

Сколько? — спросил я. — Впрочем, это безразлично.

Кто знает? — ответил он. — Если ты встретишь людей прямо на пути в Оэниелли, значит, пройдешь не больше ста пятидесяти миль. Но если тебе придется их разыскивать... Ты сам все знаешь не хуже меня. Дорог там нет, передвигаться можно только пешком.

На следующий день я с Диком Джамара и Джимми Буншага из племени ивайжа переправился в долбленке через пролив Боуэн с острова Крокер на материк. Дикку и Джимми предстояло быть переводчиком и проводником в чужой для меня стране. Через несколько дней я думал о

себе как о черном Ливингстоне, который смело пересекает неизведанные края, спеша на помощь чужому народу. Думаю, порой мне приходилось преодолевать не меньшие трудности, чем этому великому человеку, первому проникшему в глубь Африки.

Наши невзгоды начались после того, как мы перенесли долбленки через узкий перешеек, который соединяет полуостров Коберг с материком и отделяет Арафурское море от залива Ван-Димен. Мы плыли вдоль берега залива несколько миль. Сюда, по словам Джимми и Дика, попадали пресноводные источники, но всякий раз, пристав в земле, мы находили лишь высохшее русло. Скудные запасы воды вскоре иссякли, и мы гребли под палящими лучами солнца, отражавшимися от воды, молча, чтобы соленый воздух, попадая в рот, не усиливал жажду.

Только под вечер нам удалось найти воду, да и то солоноватую. Мы прокипятили ее и подсластили сахаром. На вкус вода напоминала горькую микстуру от кашля, но разве это могло остановить людей, испытывавших от жажды?

В сумерках мы нашли другие источники, но все с солоноватой или даже с соленой водой, так что меня взяли сомнения: а знают ли вообще мои проводники местность? Я приказал плыть всю ночь к устью крика Мургенелла. Достигли мы его уже засветло. Джимми сказал:

— Здесь вода, — и повел нас к яме в песке.

Вода опять оказалась солоноватой, но зато через несколько часов мы наконец нашли глубокий пресный водоем.

Отсюда я решил идти на восток, чтобы встретиться с кочевниками иванжа, мауиг и валанг.

Мы втащили долбленку на берег, спрятали в тени подальше от воды и вырубил вокруг подлесок, чтобы в наше отсутствие лодку не уничтожил лесной пожар.

На заре мы отправились в путь, в глубь Арцемленда. Впервые в жизни у меня было ружье — я получил его на острове Крокер. Тем не менее у каждого из нас еще было и копьё: с ружьем не очень-то поохотишься на рыбу. Помимо этого наш багаж состоял из топоров и драгоценной сумки с медикаментами. Ни воды, ни пищи у нас не было, но Дик и Джимми уверяли, что по дороге мы найдем сколько угодно и того и другого. Из одежды на нас были только набедренные повязки, а обуви — и вовсе никакой.

На засушливой прибрежной полосе мы в тот день попали в совершенно иную местность, изобиловавшую бизонами. Воды здесь хоть отбавляй, ямса тоже, тут водятся утки, дикие быки, олени; в таком краю даже слепой не умер бы с голоду и не заблудился.

На следующий день, в предвечерних сумерках, Дик — он шел первым — внезапно остановился:

А! Следы! Ивайжа!

Идут на восток, — сказал Джимми.

А может, на север, — сказал я.

С запада пришли мы сами. Значит, ни один из нас не был уверен, куда на самом деле вели следы. К тому же они были оставлены давно, и сверху их затоптали животные. Я не сомневался, что следы принадлежат тем самым людям, которых я ищу. Но куда они направлялись? Здесь не было ни указательных столбов, ни адресных справочников, ни дорог, ничего, кроме сторон горизонта — север, юг, восток...

— Давайте ляжем спать, — предложил я. — Одному из нас может присниться, в каком направлении идут ивайжа.

На восток, — твердо повторил Джимми.

— Или на юг, — сказал Дик.

— Или на север, — подхватил я.

Мы подстрелили бычка зебу, поджарили мягкие куски мяса на углях костра и поужинали. Ели мы руками, сидя прямо на земле, а насытившись, повалились вперед, словно гости на пиршестве в древнем Риме, и заснули, без одеял, без подушек, прижавшись грязным телом к земляному матрацу одного с ним цвета, настоящие черные дикари, возвращающиеся от культуры к первобытным обычаям своих лесных предков, хотя один из троих — фельдшер и собирается лечить своих сородичей.

«Видел бы меня сейчас доктор Реймант», — подумал я и заснул, уткнувшись лицом в пыль.

Когда рассвет раздвинул первые завесы ночи, я подкинул в костер чурку и поджарил себе еще кусок мяса, оставшегося с вечера. Брызги жира и приятный запах мяса вскоре заставили Дика и Джимми вскочить на ноги.

— Мне снились... Мне снились... — пробормотал Дик, тихо потягиваясь, — мне снились следы, идущие на восток, на юг, на север, кружащие на одном месте, взбирающиеся на деревья, опускающиеся в пещеры, достига-

ющие неба, шагающие по морю... Но все это были не следы иванжа.

— Мне тоже приснились следы,— сказал Джимми.— Я видел, что эта дорожка уходит вдаль... может быть, на восток... А я иду по следу. Иду, иду, иду, иду, но вдруг след исчезает. Я хотел было посмотреть, в чем дело, но тут кто-то меня разбудил.

— А у меня никаких снов не было,— сказал я.

Но я, главный в нашей экспедиции, настаивал накануне, что следы идут на север, и теперь надо было утвердить свой авторитет.

— Пойдем на север,— решил я.

Мы не стали смывать пыль с наших тел — пусть защищает от палящего солнца, ведь крема от загара у нас не было. Многие думают, будто черная кожа невосприимчива к ожогам, но это не так. Я часто страдал от них, особенно понав на солнце после того, как долгое время работал в помещении или ходил в рубашке.

Однажды, когда день уже клонился к вечеру, мы пришли к билабонгу, поразившему нас полным отсутствием признаков жизни. Сколько мы ни приглядывались, в воде не было ни одной рыбки.

— Гумба! — сказал Дик.

— Гумба! Гумба!

На местном диалекте это слово означало подводную охоту.

Мы сбросили набедренные повязки и нырнули на илистое дно. Голыми руками мы раздвигали тростник, где обычно прячутся черепахи, прощупывали толстые пласты грязи пополам с камнями, пока не нащупывали пальцами гладкую поверхность вожделенного сокровища: панцирь медлительной черепахи с крепко приросшим к нему мясом, слишком усталой, чтобы пытаться уйти, слишком удивленной неожиданным нападением, чтобы избежать пальцев, ловко берущих ее за панцирь и бесцеремонно переносящих из воды в костер.

При первом погружении Джим, Дик и я вытащили по черепахе — ими мы поужинали. Затем нырнули еще раз и снова достали трех черепах, но этих положили живыми в мешок — на завтра.

Заеваешься — угодишь крокодилу в пасть! Рассекая плотную темную массу воды, я помнил эту заповедь детства. О ней не следует забывать, приближаясь к тихим

билабонгам Арнемленда. Вот и теперь я нащупал зазубренный хвост и бугристую спину пятифутового пресноводного пожирателя рыб, который дремал на своем тинистом ложе, пока я гладил его рукой. По опыту я знал, что прикосновение не заставит сдвинуться с места пресноводного крокодила. Ну, а если ты ласкаешь случайно появившегося в билабонг морского людоеда? Как видите, гумба не лишена азарта.

Прошло еще три дня, мы так и не нашли никаких новых признаков моих бродячих пациентов и повернули на восток, к Куперс-Крику. Целые сутки у нас во рту не было ни росинки. Я устал идти босиком под палящим солнцем, измучился от жажды и голода, как и подобает первобытному охотнику, каким снова стал.

Когда мы приблизились к подходящему для ночлега месту — пересыхающему водоему, от которого несло долом рыбой, Дик прошептал:

Тс-с-с! Буйвол! — и уголком рта показал, где именно. Там в грязной луже лежали двенадцать диких потомков домашних животных, завезенных больше ста лет назад первыми английскими поселенцами в Порт-Эссингтон на острове Кюберг. Когда колонисты уехали, буйволы перешли узкий перешеек и распространились на прибрежных равнинах вокруг рек Саут-Аллигейтор, Ист-Аллигейтор, Мэри, Аделейд и Вест-Аллигейтор, впадающих в залив Ван-Димен. Здесь они обнаружили сочные зеленые луга, билабонги, заболоченные лужи, где так хорошо водятся... и почти полное отсутствие людей. Через сто лет животных стало уже полмиллиона.

И вот в пятидесяти ярдах от нас возлежали двенадцать таких экземпляров. Первоклассные отбивные складками свисали у них с груди и живота и прямо просились на котлетер. Но заполучить их не так-то просто! Конечно, когда-то на их предках батраки возили грузы и ездили сами, но перед нами были уже совершенно дикие животные, с бесчественными рогами восьми футов в размахе, которые без труда могут вспороть внутренности не в меру докучливым двуногим.

Подползать к буйволам надо осторожно, бесшумно. Дик привнес с собой набедренную повязку — как бы за нее не схватились могучие рога и не подняли его ввысь! Укрытия почти никакого не было — только несколько панданусов, жавшихся поблизости друг к другу. Джимми и я

спрятались за шими, а голый Дик пополз на животе, двигая впереди себя ружье и стараясь при этом не подымать пыли. В тридцати ярдах от лужи он вскочил на ноги и дико заорал, затем выждал секунду, чтобы убедиться — бегут ли пануганшые животные в сторону от него, и первым же выстрелом уложил бычка.

Бифштекс из буйволятины, зажаренный с ямсом и корнями лилий на костре, и темная болотная вода не значатся, наверное, ни в одном меню французского повара. Вряд ли их подают у «Максима» или в «Савойе». Но в Арнемленде, где нет ни столов, ни тарелок, ни приборов, ни салфеток, где сальные пальцы без всякого стеснения обтирают о волосы и бороды, отсутствие в названии блюда приставки «à la» несколько нас не смущало. После нескольких дней подобной жизни мои бакенбарды свалились от грязи и я приобрел вид кочевника, никогда не знавшего цивилизации. Я изменял основным правилам гигиены, проповедником которой был сам.

На следующий день мы взобрались на Тор Рок, одну из немногих возвышенностей в этой местности, и осмотрели безграничную равнину: не видно ли где дымка? Правда от лесного пожара его можно было отличить только в том случае, если бы охотившиеся аборигены зажгли костры, двигаясь против ветра.

Ничто не говорило о том, что на бескрайних просторах Арнемленда есть еще человеческие существа кроме нас по вкоре нам повезло.

У истоков Куцера-Крика Джимми остановился:

— Хм! Пахнет чем-то...

Мы дружно втянули в себя воздух, как дикие животные, старающиеся обнаружить врага. Я сразу узнал запах

— Рыба жарится.

— Кто может здесь жарить рыбу? — поинтересовался Дик.

— Только люди, которых мы ищем, — ответил я.

— А где же их следы? И почему мы не заметили дыма от костров? Ни людей, ни собак не было слышно.

— И тем не менее, — настаивал я, — не больше чем полумиле отсюда стоят люди. Рыба не может сама выскочить из воды и броситься на костер.

Через несколько минут неторопливого хода стал слышен лай собак и смех детей. Мы приближались к крику:

— Вот они! — сказал Дик.

Тут же нас заметил ребенок и закричал:

— Кто-то идет!

Люди, сидевшие вокруг затухавшего костра, повскакали на ноги и схватились за копья — естественная реакция корригена в лесу, но при виде Дика и Джимми успокоились.

Знаком нам разрешили приблизиться — без этого жеста даже один шаг вперед считался бы непрошеным вторжением.

Около двадцати иванжа вот уже год жили в лесу, в счастливом отдалении от великой цивилизации, представленной всего в двухстах милях от них городом Дарвином. Они обособились даже от своих сородичей, живших в миссии на острове Крокер. Мужчины носили короткие парга, женщины — хлопчатобумажные лап-лапы, у некоторых сшитые из старых мешков для муки. Дети были голые. Этих людей кормила только земля — так существовали племена австралийцев задолго до того, как капитан Кук пересек экватор.

Я плохо понимал язык иванжа, но разобрал, что, рассказывая этим простым людям, зачем мы, разыскивая их, прошли почти двести миль, Дик говорит о «докторе» и «медицине». Нас пригласили остаться, и вскоре я сидел у костра и ел вместе со всеми рыбу, черепашьё мясо, ямс и корни лилий.

Когда солнце зашло, я приступил к осмотру иванжа. Ел я, как и все они, руками, и не подумав их помыть, но, прежде чем открыть медицинскую сумку, вспомнил, чему меня учили. Я «соскреб» в крике с себя грязь, расчесал волосы и бороду и с самым профессиональным видом вымыл руки. Только после этого я выложил на лоток лекарства, дезинфицирующие средства, мыло и бинты.

— Кабинет открыт, — сказал я Дикю.

— Доктор готов, — возвестил он.

Я осмотрел и перевязал десятилетнюю девочку, все тело которой покрывали язвы, и малышку лет семи, страдавшую фрамбезией. Еще до того как ее принесли, я уже по запаху почувствовал, что здесь есть больной фрамбезией. Затем все нашли у себя какие-то болячки и пожелали лечиться. К счастью, у меня было сколько угодно аспирина, и мои пациенты довольствовались им.

Ни одному не было разрешено явиться «на прием», пока он тщательно не вымылся с мылом.

— Приказ доктора,— говорил Дик.— В грязном виде к нему нельзя приближаться.

Этого ивайжа не могли понять. Ведь всего час назад мы вместе сидели на пыльной земле и по очереди сдирали грязными пальцами мясо с костяка баррамунди, да и закрыв свою амбулаторию, я снова уселся с ними у костра.

На следующий день я сменил повязку обеим девочкам. При дневном свете мне стало ясно, что больная фрамбезией нуждается в радикальном лечении. Я прокиятил грязную воду, простерилизовал в ней иголки, вытащил из объемистого кармана сумки шприц. И вот на берегу крика, около костра, в стране Невер-Невер на полуострове Арнемленд, доктор Вайшуданья опытной рукой сделал пациентке инъекцию пенициллина. Дик и Джимми, мои бесплатные ассистенты, и отец девочки держали ее, пока черный чудовищный москит вонзал в тельце свое огромное жало.

Я не обнаружил среди ивайжа прокаженных, но решил остаться на берегу крика, пока не закончу курс лечения девочки пенициллином. После второй инъекции я объяснил старикам, что придется остаться еще на два-три дня.

Они, однако, нашли более разумный выход из положения.

— Мы пойдем с тобой,— сказали они.— По дороге ты сможешь ее лечить.

И вот это странное шествие двинулось в путь, к побережью, где была спрятана наша долбленка: фельдшер из племени алава, которого новые знакомые упорно называли «доктор», в сопровождении двух помощников и двадцати голых пациентов. Мы по дороге охотились, по очереди несли конья, ружья и санитарную сумку и дважды в день останавливались, чтобы я простерилизовал иглы и сделал укол девочке, безропотно теперь его сносившей.

Через три дня, уже около самого побережья, я увидел, что моей больной лучше. Я прошел двести пятьдесят миль, чтобы вылечить девочку. Моим гонораром была робкая улыбка, но это вознаграждение не измерялось никакими ценностями. Когда я сел в долбленку, а Дик и Джимми взяли за весла, девочка улыбнулась, показав свои белые зубы, медленно подошла к лодке и что-то шепнула.

— Москит теперь колет не больно,— перевел Дик.

— *Вее-аа!*— сказал я.— До свидания. *Джу-джу нама ялааа.* Еще встретимся.

Но больше я ее не видел.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

За то, что я кусал людей железным жалом, мне пришлось заплатить с огромными процентами.

В 1957 году начальник департамента здравоохранения Северной территории доктор Альфред Х. Хемфри сказал мне, что научным работникам Сиднейского университета требуется для изучения малярии большое количество комаров-анофелесов.

— Может, ты отправишься на реку Ропер и наловишь там для нас несколько тысяч комаров? — предложил он.

Я согласился, и самолет доставил меня в мою родную страну Ларбарянджи.

Но как поймать тысячи москитов? Я пробовал пользоваться сачками и сетками, однако результаты были неутешительные. Наконец я понял, что единственный способ — ловить их по одному, после того как они вонзят жала в мою кожу!

Из двух кусков резинового шланга, куска марли и бутылки я смастерил ловушку для комаров. Улегшись на берегу реки, около билабонгов, где роились анофелесы, я ловил укусивших меня комаров через шланг в бутылку, а потом умерщвлял хлороформом. Я был как бы одушевленной подушечкой для иголок. Вскоре я набрал тысячи насекомых и отослал в Дарвин. Однажды я пришел к реке с козлом, а на следующий вечер — с лошастью: ученые хотели выяснить, какие комары кусают животных. Но пока одни анофелесы избрали своей мишенью четвероногих, мириады других пикировали на меня!

Мои сородичи из племени алава грустно качали головой.

— Может, доктор Вайпулданья захворал головой, — говорили они. — Может, попросить, чтобы его забрал санитарный самолет?

Они не могли понять человека, который предоставляет свое тело комарам и всасывает их в бутылку, а затем выходит на съедение ни в чем не повинных козла и лошадь. Но я был вознагражден за свои муки. В один прекрасный день от доктора Хемфри пришла телеграмма: «В Нумеа, Новая Каледония, конференция по гигиене среди местного населения. Хотите поехать? Расходы оплачиваются».

Я немедленно согласился. Через две недели в дарвинском аэропорту я поднялся на трап самолета «Эр-Франс», совершающего беспосадочный перелет в Нумеа. Я первым

из аборигенов, живущих на реке Ропер, а может быть, и на всей Северной территории, покинул Австралию, с тех пор как во Времена сноvidений мой народ поселился здесь.

На трапе меня встретила стюардесса в форме:

— Bonsoir, monsieur ³³.

— А? — Моя нижняя челюсть отвисла.

— Bonsoir, monsieur. Voici votre place, s'il vous plaît ³⁴.

— А? Похоже на иванжа, — пробормотал я и, как утопающий хватается за спасательный круг, обратился к варварскому виджш-инглиш. — Мой не понимаю.

— О, простите, — произнесла она на безупречном английском. — Добрый вечер, сэр. Вот ваше место.

В Пумеа у меня тоже были филологические затруднения, но вот телеграмму доктора Хемфри, полученную на месте, я понял сразу: «Гарлтон Реймант скоропостижно скончался в Сиднее».

Весь этот день я не мог заставить себя сосредоточиться на лекциях. Мыслями я непрерывно возвращался на реку Ропер, где старый Джимми Ильяньиньи стонал перед доктором Реймантом, глядя на свой рентгеновский снимок:

— Горе мне! Дьявол, дьявол в моей шкуре!

Теперь я окончательно решил стать медиком. Американский лектор Лири Кэйес старался облегчить нам эту задачу. Он подробно рассказывал, какую помощь могут оказать фельдшеры из местного населения своему народу. Он также посоветовал нам сотрудничать с племенными колдунами.

Менее чем через год мне довелось выполнить его совет. Тогда я впервые, с тех пор как в далеком-далеком детстве был «отпет» на пути к горе Септ-Виджеон, столкнулся с чернокожим «доктором».

В устье реки Ливерпуль, в северной части Арнемленда, среди девственного леса выросло новое селение аборигенов — Мавингрида. Жители его стояли по своему развитию на таком же уровне, как и население Ламбарена в Бельгийском Конго к тому времени, когда Альберт Швейцер поднялся туда по течению реки Огове.

³³ Добрый вечер, месье! (франц.).

³⁴ Добрый вечер, месье. Вот ваше место, пожалуйста (франц.).

Как и Огове, верховья Ливерпуля в окрестностях Хевон-Фолс — уединенная область, отделенная от остального мира столь не подходящей для жизни местностью, что не более двух белых отважились ее посетить.

Река проложила себе путь через труднопроходимую возвышенность, увенчанную высокими вершинами, на которые редко взбираются даже постоянно живущие здесь представители племени берара и гунавиджи: они предпочитают равнины в устьях могучего Ливерпуля и его многочисленных притоков и избегают проникать вглубь, в «настоящую страну черных», как забавно выражался один абориген.

Побережье Арафурского моря, с естественной гаванью в устье реки Ливерпуль, было удобным пристанищем для торговцев из Макасара. Эта река имела и еще кое-что общее с Огове: кровь людей, живущих на ее берегах, была отравлена проказой.

Я провел в Манингриде девять месяцев, ухаживая за двадцатью прокаженными, в том числе и совершенно безнадежными. Кроме того, я лечил сотни других людей, страдавших от язв, фрамбезии, заражения крови, копьевых ран и страшных травм, полученных в племенных сражениях. Берара и гунавиджи — воинственные племена. Вскоре после моего прибытия ежедневный прием больных стал напоминать походный лазарет. Мне пришлось незамедлительно научиться накладывать швы.

В то время около селения еще не было аэродрома. Я прибыл на лодке с доктором Джоном Харгрейвом, а после его отъезда в Дарвин остался, чтобы давать лекарства и перевязывать раны прокаженным — мужчинам, женщинам, детям с деформированными телами, удлиненными ушами, страшными язвами и гниющими пальцами на ногах и руках.

Тут мне пришлось произвести первую операцию: я отрезал ножницами палец, висевший на полоске кожи.

Все это было отвратительно. Некоторые проявления проказы вызывали такой ужас, как никакие другие болезни. Но она убила мою мать и стала моим личным врагом.

Санитарному самолету нигде было приземлиться в Манингриде. Отправить больных в Дарвин по морю тоже было невозможно: как на судне ухаживать за ними и перевязывать раны? Значит, выход был один: доктору

Вайпулданье вывесить воображаемую дочечку с часами приема на вологе палатки или у входа в бревенчатую хижину, когда она будет построена, и ежедневно принимать пациентов — женщины с обнаженной грудью, голых детей, мужчины, заросших волосами. Мне помогала жена управляющего поселком миссис Ингрид Драйсдейл.

Если состояние больного вызывало у меня беспокойство, я немедленно обращался за советом к моему наставнику, доктору Харгрейву, находившемуся за триста миль от меня, в Дарвине. Селение располагало волшебным ящиком, чудодейственной рацией, с помощью которой я мог сообщать доктору о самочувствии больных и получать от него указания. Из моей палатки в лесных дебрях я часто разговаривал с доктором, сидевшим у себя в кабинете в Дарвине:

— Доброе утро, доктор. Говорит Филипп. Джабирр чувствует себя неважно: поднялась температура, пульс слабый.

Я не успевал закрыть рот, как Харгрейв уже вынимал из картотеки историю болезни Джабирра.

— Доброе утро, Филипп. Мне кажется, следует на две недели приостановить лечение, а затем возобновить лекарства, начиная с меньших доз.

Так я разрешал свои сомнения относительно трудных пациентов.

Анна с четырьмя старшими детьми — Филлис, Родой, Конни и Маргарет — приехала ко мне. Мы жили сначала в палатке — ее дал управляющий Дэвид Драйсдейл, а потом в хижине, которую я в свободное время построил из бревен.

Однажды в конце недели я пошел с семьей на охоту. Снял обычную свою одежду, надел наргу, взял копья и бумеры и направился к просеке, где кончалось селение.

За просекой лежал девственный край, который знали только берара и гунавиджи. Здесь, в низовьях реки Ливерпуль, они строили лодки из бревен и коры, здесь находилась их площадка для корробори со всеми его языческими обрядами, мало изменившимися за тысячи лет. За просекой бегали кенгуру и валлаби, ползали гуаны и змеи, а в водоемах дельты плескались рыбы.

На прием больных я каждое утро выходил из дому в свежей рубашке, чистых штанах, носках и ботинках. Этот костюм соответствовал моему профессиональному

положению. Но сейчас я был одет точно так же, как любой из моих пациентов, а в довершение сходства нес в руках копьа.

Я не охотился целый год, а то и больше. Пищу мне подавали на тарелках, и я научился есть ее ножом и вилкой. Да и пища эта была цивилизованная; та самая стерильная, часто замороженная пища в жестяных банках и фольге, которую продают мясники, бакалейщики и булочники. Я ел ее с удовольствием, но меня не покидало ощущение, будто чего-то недостает: запаха только что убитой и приготовленной на костре дичи, глубокого удовлетворения, что я живу благодаря своей споровке, как жили мои предки, да и я сам на реке Ронер. Когда мое обучение охотничьему искусству близилось к концу, Сам Улаганг сказал:

— Теперь он может прокормить жену и детей. Он стал первоклассным охотником.

Я не хотел утратить эти способности или лишиться обречения Сэма. Но пока я шел с Анной и детьми по просеке, меня осыпали насмешками. Обитатели леса, пришедшие ко мне лечиться, смеялись до колик в животе:

— Глянь-ка на доктора... Глянь-ка на доктора! — стонали они. — Ха-а-а! Ха-а-а-а!

— Он без ботинок, без брюк, без рубашки...

— У него копьа в руках. Пойдем посмотрим, как бы он себя не проткнул.

— Хорошая была бы еда, а?

Их непрестанные насмешки были невьносимы. По сути дела они хотели сказать: «Что этот белоручка знает об охоте? Да он не разберет, в какую сторону дует ветер, не отличит следа кенгуру от гуаны, острого конца копьа от тупого!».

Они смеялись, пока я не скрылся из виду.

Зато когда я вечером возвращался через просеку домой, вокруг стояла мертвая тишина, равнозначная высшей похвале. На плечах была повешена медаль мастера охоты: убитый кенгуру. Жена и дочери несли баррамунди, пронзенную копьа в трех местах.

Ни один абориген не согласится стать мишенью для насмешек. Утром я разозлился и решил доказать этим туземцам, что не только берара и гунавиджи умеют охотиться. Мне пришлось долго идти по следу кенгуру. Сюрприза я промахнулся — они этого никогда не узнают!

в следующего попал. Теперь была их очередь злиться на свое глупое поведение.

На следующий день утром я снова появился в чистой одежде и как ни в чем не бывало начал осматривать больных и раненых. Люди, как всегда, называли меня почтительно «доктор», но в их голосах звучали нотки более глубокого уважения, чем прежде.

В нескольких ярдах от палатки прямо на грязной земле сидело несколько молодых мужчин. Обрывки их разговора долетели до меня.

— Э, парень, этот человек настоящий доктор и настоящий охотник, все как полагается.

— Он, правда, черный, который живет, как белый, но все умеет.

— Э, парень, видел, какую он вытащил баррамунди? Жирную... жирную и сочную...

— А видел след от копья на шкуре кенгуру, а? Прямо в сердце он ему попал, в самую середку.

Меня наполнило сладостное чувство удовлетворенного самолюбия. Но что оно значило по сравнению со сладким вкусом поджаренного на костре мяса, которое я, как чернокожий, ел руками, или с уважением, выказанным мне несколько дней спустя!

Томми Галбаранга-Левша пришел ко мне и сказал;

— Скоро мы большой толпой пойдем на охоту. Мы пойдем в Маргулидбан и Губунгу на реке Блиф. Да-а-алеко, да-а-алеко, идти долго. Пойдем с нами, а?

Нет ничего более лестного, чем предложение пойти на охоту с чужим племенем. Моя грудь так раздулась от гордости, что, казалось, сейчас отлетят все пуговицы от рубашки.

— К сожалению,— сказал я,— очень много больных, нуждающихся в уходе.

Левша и об этом подумал.

— Миссис Драйсдейл,— сказал он,— хороший доктор. А в лесу у Маргулидбана и Губунгу много-много больных. И проказа повсюду.

Теперь я уже не мог устоять, тем более что миссис Драйсдейл согласилась одна вести прием. Через неделю сорок босых полуголых мужчин, женщин и детей в сопровождении неизменной своры собак, неся только копья и мою медицинскую сумку, отправились к билабонгу Нармонгара. Здесь мы сделали первую остановку на этой схо-

те, которую я всегда буду помнить как лучшие каникулы в своей жизни.

Биллабонг Нармонгара, в тридцати милях от селения, был глубоким чистым озером почти правильной круглой формы, изобиловавшим рыбой. Здесь ни один абориген никогда не голодал бы.

В этот вечер около костра Галбаранга рассказал мне, как оно возникло:

Давно-давно, во Времена сновидений, здесь стали лагерем двое мальчиков, только что прошедших обрезание. Перед церемонией дядья предупреждали, чтобы они не ели жирной пищи... жирных гуан, жирных кенгуру, никакой другой жирной пищи.

Я поразился. Здесь, у берара и гунавиджи, отделенных от алава сотнями миль горной местности, в этой Стране Чернокожих, у людей, не имевших никакой связи с моим племенем, были те же верования, что и у нас, и не менее древние.

Я вспомнил, как двадцать лет назад я становился мужчиной. Мой дядя Стэйлл Марбунггу наложил на меня такое же табу. Нет! Прямого контакта между нами не было, но Кунаппи, Земля-мать, Ведаррагама, Змея-радуга проникли на север и на запад от Ропер до реки Ливерпуль и распространили те же древние законы, которые по сей день соблюдаем и мы³⁵.

— Ну так вот,— продолжал Левша.— Эти два мальчика ослушались закона. Они убили жирных гуан и начали их жарить. Но Человек-Смерч, Змея-радуга, почувал запах жира и пришел узнать, в чем дело. «Что это за шум?» — спросил один мальчик. «Да ничего, просто смерч шумит,— ответил другой.— Шу! Смерч шумит!» А Ведаррагама очень, очень обиделся. Он этот смерч принес быстро-быстро. Старейшины говорили мальчикам: «Увидишь смерч — беги, не то он тебя проглотит!». Только мальчики не послушались. «Смерч, обезумевший ветер», — сказали они. Тогда Ведаррагама как ударит! Мальчиков подбросило вверх и унесло прочь, в Место сновидений, так

³⁵ Общие явления в культуре отдаленных племен Арнемленда (и многих других областей Австралии) объясняются не только распространением (диффузией) этих явлений от племени к племени, но нередко и общим происхождением самих племен, расселившихся на протяжении многих сотен лет на обширных пространствах пятого континента.

что их больше никто никогда не видел. А смерч вошел в землю, земля отступила, и здесь образовался билабонг Нармонгара.

Несколько мальчиков, шедших с нами, слушали с широко раскрытыми от страха глазами. Галбаранга повернулся к ним.

— Смерч — хитрец. Увидите смерч — прячьтесь. И соблюдайте законы нашего народа.

Тем не менее в стране, где жирная пища для многих была табу, мы только ее и ели: охотники приносили и складывали в общий котел кенгуру, уток, рыбу, гуан, черепах, черепаший яйца... Живот мой раздулся от переедания, и, когда мы вышли в Аннамайера, я был рад возможности поразмяться.

Около устья реки Каделл мы стали свидетелями удивительного зрелища. Поблизости от Аннамайера над нами пролетел самолет. От него отделились парашюты и упали менее чем в миле от нас.

Молодой абориген, хорошо помнивший войну, с криком бросился бежать.

— А-а-а! Нас бомбят!

— Сейчас самолет развалится, и на нас посыплются куски, — сказал маленький мальчик.

Во время тропических ливней, затоплявших аэродромы, мне не раз случалось видеть, как в миссии и селения сбрасывали на парашютах медикаменты.

— Это не бомбы, и самолет не разваливается, — сказал я. — Где-то здесь поблизости есть белые, и им сбрасывают пищу.

— Муку, чай, сахар? — спросил маленький мальчик.

— Да.

— А! — Мальчик перевел мои слова в доступный его пониманию образ. — Это как большая столовая?

— Да, — подтвердил я. — Авиационная столовая.

Но Левша не поверил:

— Ну да! Не может быть!

— Почему?

— Зачем же здесь сбрасывать пищу?

— Чтобы белым было что есть.

— Это здесь-то! Где пища повсюду! Шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на пищу! В реках из-за рыб трудно плавать. А в песке полным-полно черепаших яиц, и к ним ведут большие следы. Потом кенгуру... У белых

нет, есть ружья? Ямс, корни лилий, гуаны, личинки... Чем им еще? Зачем же сбрасывать пищу с самолета?

Нет, он никак не мог примириться с этой мыслью. И тем не менее я был прав.

Через час мы около побережья увидели лагерь. В нем были десять моряков — они занимались исследованием дельты реки Кадела. Моряки встретили нас приветливо, хотя мы, наверное, казались им чем-то вроде марсиан, жителей неизвестной лесной страны, начинавшейся за ближайшим деревом, дальше которого они не ступали. В этом мы убедились, разглядывая следы, еще до того, как увидели белых.

Вокруг валялись остатки грандиозной трапезы: пустые банки из-под колбасы, фасоли, свинины, макарон, открытые банки с кофе. В воздухе стоял запах жареного мяса.

Большая была еда, — сказал Галбаранга.

И даже отбивная на косточке, — отозвался один моряк. — Приземлилась здесь на побережье ровно через два часа после того, как покинула холодильник в Дарвине.

И весьма своевременно, — добавил другой белый. — Мы уже почти голодали. Первая настоящая еда за целую неделю.

Один из моряков дал всем нашим ребятишкам по апельсину.

Прямо с неба, — сказал он и, как бы оправдываясь перед товарищами, заметил: — Бедные чертенята месяцами, наверное, не видят приличной еды.

Его покровительственный тон был мне неприятен, и я сказал:

— Да у нас полно еды.

Где? У вас ведь ничего с собой нет, кроме этой сумочки.

— В лесу, в реках и криках. На побережье. Еда повсюду.

— Еда чернокожего?

— Да, еда чернокожего. Рыба, яйца, свежее мясо...

Рыба, яйца... Эй, Блю, слышишь, что он говорит?

— А как вы ловите рыбу? На удочку?

— Нет. Мы ее бьем копытами.

— А что за яйца у вас? Вороньи?

— Нет, черепашины.

— А на что они похожи?

— На яйца.

— А не поймаете ли вы нам рыбы?

— Хорошо, — сказал Галбаранга. — Сколько?

— По одной на каждого.

Мужчины, что помоложе, побежали к реке и через час принесли дюжину больших рыб. Моряки молчали, но их глаза были красноречивее любых слов.

— А что у тебя в сумке? — обратился один ко мне

— Лекарства.

— Лекарства! Вот это да! Слышишь, Блю? У этого парня лекарства. А скажи, это что, снадобья чернокожих?

— У меня лекарства белых.

— Он доктор, — с гордостью промолвил Галбаранга. — Он охотится с нами.

— Доктор! Эй, Блю, слышишь? Этот парень доктор. Я готов на одной ноге допрыгать до ада и обратно... Доктор! Здесь, в глуши! А ты случайно не колдун?

Я бы мог обидеться, но моряк улыбался дружелюбно, хотя и с явным недоверием.

— Я фельдшер. Меня зовут Филипп Робертс. Я учился у доктора Лэнгсфорда, доктора Рейманта и доктора Харгрейва. — Мне казалось, что моряки достойны такого разъяснения.

— А какие у тебя лекарства?

Я открыл у его ног мою драгоценную сумку.

— Пенициллин... сульфамидные препараты.

— Лекарства бивджи, — пояснил Галбаранга.

— Лекарства бивджи! Эй, Блю, слышишь? У этого парня лекарства белых... Какие же еще?

— Сульфадимизин. У меня еще есть бинты, мазь для ран, антисептические средства...

— А ты можешь полечить Блю? — спросил белый.

Блю, к которому он несколько раз обращался, не произнес ни слова.

— Его здорово скрутило... Подхватил дизентерию, — объяснил разговорчивый моряк.

— Могу, конечно, — ответил я. Я дал ему таблетку сульфадимизина и дозу на весь следующий день.

— Я думаю, дело в грязной воде, — сказал первый моряк. — У нас у всех уже была дизентерия, но в слабой форме.

Я перевел его слова Левше.

— А почему они пьют грязную воду? — спросил он.

— Потому что другой нет.

Галбаранга рассмеялся. Некоторые из наших мужчин тоже улыбнулись.

— Чистая вода прямо под вами, — сказал Левша. — На том самом месте, где вы стоите. Это наш старый несчастный колодец.

С помощью двоих аборигенов он вынул несколько футов песка. Отверстие немедленно наполнилось свежей водой. Галбаранга нагнулся и с жадностью стал пить.

— Первый сорт, — сказал он.

— Ну да! Я готов от радости прыгать на одной ножке... Эй, Блю! Свежая вода! Смотри, чистая как кристалл!

Когда мы подошли к лагерю, моряки разговаривали с нами добродушно, но с оттенком жалости, может быть, из-за того, что мы были голые и грязные. Теперь они прониклись к нам уважением, особенно ко мне, доктору Вайпулданье. Это стало видно, когда разговорчивый моряк сказал:

— Послушай, парень, а не полечишь ли ты наши болячки? Мы тут так давно, что начали гнить.

Я согласился. И вот в лесу, в сотнях миль от ближайшей больницы, десять белых мужчин выстроились перед голым черным бродягой — таким я им, безусловно, казался. Я дал им лекарства от дизентерии, от боли в желудке, от мигреней, перевязал все болячки и царапины.

В качестве гонорара я получил чашку кофе.

Пока я занимался врачеванием, Галбаранга устроил еще одну охоту в пользу моряков. Охотники принесли двух кенгуру, несколько десятков черепаших яиц, еще рыбы, четырех уток, гуану и змею.

— А гуана и змея зачем? — спросил моряк.

— Пицца. Пицца первый сорт, — ответил Галбаранга.

Моряки не хотели его обидеть, но по испуганному выражению лиц, которое они, впрочем, сразу же поторопились изменить, было ясно, что ни змея, ни гуана не попадут на их стол.

Мы пошли дальше. К ночи разбили лагерь в нескольких милях от билабонга Джуддала. Здесь было столько уток, что дети могли убивать их палками.

После обильной еды Галбаранга и я сели смотреть импровизированный концерт. Слово по волшебству появились диджериду и палки для отбивания ритма. Выступавшие цели и исполняли пантомимы. В одной изображались

погибающие от голода. Они пристально вглядывались в небо, тщетно надеясь, что там появится самолет и сбросит на парашютах еду и воду.

Галбаранга от смеха катался по земле.

— Смотрите! — кричал он. — Сидят на воде и умирают от жажды! А-а-ах! Х-а-а-а!

— Гляди, гляди! Держит консервный нож, но открывать им нечего!

Когда пантомима закончилась, Галбаранга сказал:

— Ну кто поймет этих белых? Они очень умные: умеют делать самолеты... и автомобили... и консервы... и большие бомбы... и холодильники... и корабли, которые плавают под водой... Но вот еду в лесу найти не могут!

— Все дело в том, где люди живут, — сказал я. — Белым не надо искать пищу, они ее покупают в магазинах. А у нас нет магазинов, нам приходится охотиться.

Затем я рассказал все, что читал, об атомной и водородной бомбе, тоже придуманной белым человеком. Я рассказал, какая у них разрушительная сила, как они могут уничтожить целые города и страны.

— Когда они начнут их бросать, — сказал Галбаранга с видом мудреца, — лучше всего будет старым чернокожим из леса. Мы, как и всегда, будем жить тем, что дает земля, а белым придется учиться этому заново.

— Ты можешь на старости лет стать великим учителем, — сказал я.

— Учителем? Я?

— Да. Будешь учить белых людей, как жить в лесу.

Через десять дней после начала охоты я, пройдя за это время сто пятьдесят миль, вернулся в Маннгриду. Возвращался я один — меня беспокоили пациенты в поселке — и по дороге охотился. Рассказы Галбаранги о том, что в лесу «много-много больных» и «проказа повсюду», которыми он меня соблазнил, оказались плодом его фантазии. Правда, на реке Блиф мы видели однажды вдалеке костры, и я даже отложил свое возвращение, чтобы встретиться с кочевниками, но они ушли куда-то в сторону. Шедшие со мной берара и гунавиджи остались: им надо было совершить погребальную церемонию в честь покойника, умершего год назад.

Как-то после того как я возобновил работу, ко мне пришел один берара, по имени Тоби Барл-Бадла, и рассказал, что в лагере заболел мальчик.

— А почему ты его не привел? — Все большие должны были показываться мне.

— Он сын чернокожего доктора, — сказал Тобби, и в его голосе прозвучал страх, — самого могущественного доктора здесь, доктора номер один среди всех берара и гунавиджи, очень большого человека.

В моем сознании мигом промелькнуло воспоминание о том страшном дне, когда двадцать лет назад у горы Сент-Виджеон я был «отпет» на смерть злым колдуном и только в последнюю минуту спасен нашим знахарем — старым Гудживой.

Я вспомнил, какой ужас тогда пережил, вспомнил, как Гуджива впихнул мне в рот смесь из коры акации, ямса, дикого меда. Вспомнил, как возмущался против нее мой желудок, пока Гуджива танцевал вокруг меня, бил по земле зелеными кустами, выкрикивал проклятия злым духам, которые хотели моей гибели, шел для меня, шел для моих предков, стараясь умиловить наши языческие тотемы и призывая несчастья на голову злых духов, приведших меня на грань джарпа — дороги от жизни к смерти. Я вспомнил, как Гуджива высасывал кровь из моей руки. Откуда она бралась — неизвестно, но она текла не переставая. Я вспомнил, как меня тошнило, как у меня непроизвольно сокращались мускулы, как я бесновался в бреду, словно идиот.

Наконец, я вспомнил, как Гуджива вынул изо рта красную раковину в форме звезды, делая вид, что извлек ее из моего тела. И как я тут же испытал облегчение, конвульсии у меня прекратились, я почувствовал себя лучше. Впоследствии, однако, я всегда боялся, как бы меня не «отпели» снова.

— Теперь я буду петь, — сказал я. Тоби был удивлен, и я добавил: — Мне надо свести старые счета. Посмотрим, чье врачевание лучше — мое или его. Скажи старику, чтобы он пришел и принес мальчика.

— Он очень опытный человек... Очень умный...

— Ну что ж... Посмотрим...

— Он не подчиняется приказаниям... Он сам их отдает...

— И это тоже посмотрим...

Все те годы, что я лечил людей по-научному, я думал о том, что когда-нибудь встречу с колдуном как равный с равным. Я страстно желал продемонстрировать свое

превосходство. И не только в интересах медицины! Мне хотелось потребовать признания своих заслуг и тем отомстить за пережитое мной в детстве унижение. Теперь, когда представился такой случай, я не хотел его упускать.

Старого колдуна звали Малагвиа. Тоби передал ему мои слова, но вернулся один.

— Он держит себя как директор, которому курьер указывает, как поступать, — сообщил он. — Просто отмахнулся от меня — и все тут.

— Может, завтра станет поскромнее. Если мальчик действительно болен, — сказал я.

На следующее утро я, как обычно, пришел в лагерь, чтобы осмотреть стариков и слабых больных, которые не в состоянии были сами прийти ко мне. Я стал на колени около женщины, почти ослепшей от трахомы, и начал промывать ей глаза. Женщина — ее звали Мэри Джабайбай — довольно сносно говорила по-английски. Вдруг к теням на земле около меня прибавилась еще одна. Ребенок прошептал что-то Мэри на ухо, и она вся сжалась.

— Кто это? — спросил я.

— Малагвиа! Колдун.

Я не обращал на него внимания. Он пробормотал несколько слов на непонятном мне диалекте, внимательно наблюдая, что я делаю Мэри. Закончив работу, я поднялся с колен и оказался лицом к лицу с Малагвией. Он смотрел на меня вызывающе, не отводя взгляда.

— Тебе что-нибудь нужно? — спросил я.

Мэри перевела:

— Мой маленький мальчик там... болен.

— Ты колдун, — сказал я. — Почему же ты его не лечишь?

Мэри не решалась повторить дерзкие слова чужака самому могущественному человеку на побережье. Только когда тот подал знак, она заговорила.

Наконец старик сделал признание, по-видимому вырвав его из глубины своего сердца. Мальчик был его единственным ребенком.

— Я пробовал, — сказал он с отчаянием.

— Тогда принеси его ко мне.

— Не могу.

— Почему?

— Слишком много людей будут надо мной смеяться: доктор черный принес своего сына лечиться к черному, ставшему доктором белым.

— Если я приду в твой лагерь, они все равно узнают.

— Это совсем иное дело,— сказал он без всякой логики.— Я не могу помешать тебе во время обхода посетить мой лагерь.

Я уже начал злиться, но ведь здоровье мальчика было важнее моей гордости.

— Сейчас приду,— сказал я.

Он улыбнулся — первый раз за весь наш разговор — с облегчением, но и с торжеством.

Мы помогли Мэри подняться на ноги, и я довел ее до палатки старика, чтобы она и дальше выполняла роль переводчика.

Там на грязном одеяле лежал мальчик лет десяти. Подошва его правой ноги была сильно порезана. Вокруг раны поселились мухи. Мальчик держался за ногу и тихо плакал.

Я промыл порез и положил мальчику в рот термометр. Сто два градуса по Фаренгейту! Я дотронулся до паха — мальчик вздрогнул от боли. «Заражение крови», — подумал я.

Малагвна наблюдал за каждым моим движением. Он был зачарован термометром, хотя старался принять безразличный вид, и явно сердился из-за того, что высокое положение мешает ему разузнать о назначении этой палочки. Вопросами он выдал бы свое невежество, а это, конечно, было недопустимо.

— Спроси еще раз, хочет ли он, чтобы я лечил его сына,— сказал я Мэри.

— Да. Он хочет.

— Спроси его, считает ли он мою медицину сильнее своей.

— Не знаю,— ответил старик.— Я хочу посмотреть, что будет.

Он не сдавался, испытывая, насколько я уверен в своих силах. Если лечение не удастся и мальчик умрет, он сможет обвинить в его смерти меня. Это нанесет большой вред программе медицинского обслуживания всех племенных групп в районе Манингриды.

Я был уверен, что Малагвна не позволит распространиться слухам о том, как я лечил его сына: пригрозит Мэри, что «отпоет» ее, если она не станет держать язык за зубами, и дело с концом. Но мне хотелось унижить его хотя бы при Мэри.

Я снова осмотрел ногу.

— Покажи, как вывести гной.

— Не знаю,— пробормотал Малагвина мрачно.

— Покажи, как сделать, чтобы опухоль спала.

— Тоже не знаю.

— Если я смогу это сделать и вылечу мальчика, ты должен признать, что моя медицина сильнее твоей.

Малагвина ничего не ответил. Как мог опытный специалист, искушенный в применении сока древесной коры и мумбо-джумбо, признать превосходство подмастерья? Как мог самый влиятельный на побережье человек признать, что его победил чужеземец?

Я тщательно промыл ногу, вынул из сумки шприц и для стерилизации прокалал иглку в огне костра.

У Малагвина глаза от удивления на лоб полезли.

— Это для чего? — спросил он резко.

Мне было ясно, что без дипломатии тут не обойтись.

— В этой игле чудодейственная сила,— сказал я.— Настоящее волшебство черного знахаря. Я впрысну твоему сыну эту жидкость, и она выгонит из его ноги дьявола, который его убивает.

Малагвина, удовлетворенный ответом, радостно кивнул головой. Значит, действует его ремесло, а вовсе не мое! Скажи я ему, что в шприце пенициллин, который поборет инфекцию в ноге, кто знает, как бы он к этому отнесся! Снедаемый любопытством, он не сводил с меня глаз, стараясь, однако, сохранять безразличный вид.

В это время из темного угла вышла жена Малагвина и заплакала.

— Заткнись! — прикрикнул он на нее.— Не видишь, что ли, черный доктор, мой товарищ, лечит нашего сына.

— Я не черный доктор,— сказал я.

— Как же, как же! Ты черный доктор!— Он хитро подтасовал факты к своей выгоде, и я понял, что спорить бесполезно.

Я сделал мальчику укол и забинтовал раздувшуюся ногу. Когда я поднялся, старик в знак братского приветствия положил руки мне на плечи, как бы признавая меня равным себе.

— Я очень занят в амбулатории,— сказал я.— Ты будешь каждый день приносить сына на уколы. Там у меня есть еще более сильная игла.

— Хорошо,— согласился наконец Малагвина.

Он не только приносил сына, но через четыре дня, когда у мальчика боль прошла и опухоль в бедре спала, пожаловался, что его и жену одолели нарывы. Я и сам заметил у него фурункулы на руках и ногах, но промолчал.

Вот так я осмотрел, поставил диагноз и вылечил знахаря, его жену и сына. Каждый раз, перевязывая болячки Малагви, я думал: «Много лет назад один из твоей братии пытался меня убить». Но эту мысль вытесняла другая: «А чернокожий доктор из племени алава, старый Гуджива, спас меня».

Мне рассказали, что старый Малагви не «отпел» ни одного из своих соплеменников. Он был одержим примитивной гишнократовской идеей и считал, что людей лучше лечить, чем убивать. Благодаря этому у него была огромная практика, а сам он, по понятиям аборигенов, стал богачом. В качестве гонораров к нему чуть ли не бездонным потоком текли отрезки ситца, табак, оружие, продукты... Я видел, как он обходил лагерь и собирал то, что ему причиталось по счетам. Он мог потребовать у пациента все, что угодно, даже его жену, ему ни в чем не было бы отказа.

Лекарства свои он составлял из соков растений и трав, варил из коры, камней, костей, воска, красной охры, перьев и меха — из всего, что обладало, по его убеждению, магической силой и в сочетании с высасыванием крови и гипнозом изгоняло злых духов из тела больных соплеменников. Хотя Малагви творил добро, аборигены боялись его, как можно бояться только знахаря и колдуна.

Когда мальчик совсем выздоровел, а Малагви и его жена избавились от фурункулов, он пришел ко мне и, исполненный великодушия, признал наконец мои заслуги.

— Доктор... — шепко сказал он. — Доктор...

Я был тронут.

Он был знахарем и лечил сотни своих соплеменников. Некоторые выздоравливали — ведь вера имеет великую целительную силу. Я не сомневался в том, что народ считал его чуть ли не «сновидением», в которое слепо верил.

Но он не мог вылечить своего сына. Он не мог вылечить свою жену. Он и себе не мог помочь и, стараясь не утратить собственного достоинства, был вынужден прибегнуть к другим лекарствам из соков трав, листьев, кустов, коры и плесени, в которые твердо верили три белых врача.

Колесо повернулось.

ЭПИЛОГ

*«Северная территория Австралии»
„Правительственная газета“, № 19В от 13.V. 1957 г.*

Я, Джеймс Кларенс Арчер, администратор Северной территории Австралии, в соответствии с полномочиями, возложенными на меня Законом о благосостоянии 1953—1955, настоящим объявляю находящимися под опекой лиц, поименованных в приложении к данной декларации, поскольку они в силу своего образа жизни и неумения без посторонней помощи вести свои дела, в силу социальных традиций, своего поведения и личных связей нуждаются в особом попечении и помощи, кои предусмотрены названным выше Законом.

* * *

Приложение содержит имена 15 211 аборигенов, которые, таким образом, стали подопечными правительства, но ни одного белого в нем нет.

Имя Филипп Вайнулданья стоит на странице 236 приложения. Рядом — имена моей жены и наших детей.

В 1957 году советники правительства считали, что я нуждаюсь в особом попечении.

Я был не в состоянии сам вести свои дела.

С пятнадцатью тысячами других аборигенов я попал под опеку.

Я не мог действовать по своему разумению.

Мне исполнилось уже 35 лет, но тем не менее у меня был официальный опекун — администратор Северной территории, уполномоченный решать, что мне можно делать, а что нельзя.

Впрочем, на самом деле я был предоставлен самому себе.

В бытность мою в Манингриде туда прибыл из Дарвина главный чиновник департамента благосостояния Тэд Эванс. Я водил его по поселку, и он видел, какую работу я проделал.

— Филипп, — сказал он немного погодя. — Я хочу рекомендовать тебя для получения права гражданства. Мне кажется, что ты вполне можешь сам за себя отвечать. Ты согласен?

— Нет, — отрезал я.

Я боялся, что, если приму гражданство, на меня распространится закон, запрещающий белым посещать без специального разрешения резерваты аборигенов. Я знал, что такие ограничения существуют. Мне же отнюдь не хоте-

лось лишаться доступа в селения, миссии и резерваты, где жила мой собственный народ. Я боялся, что для свиданий с городичами мне надо будет получать пропуск, может быть даже в трех экземплярах.

Через несколько дней я рассказал о сделанном мне предложении Тревору Милликенсу, также чиновнику департамента благосостояния, находившемуся в Маннингриде. Он заверил меня, что гражданство не мешает мне бывать в резерватах. Это подтвердили и другие.

Однажды в Дарвине я встретился с директором департамента благосостояния мистером Гарри Гизом. Представив меня друзьям, он сказал:

— Мы уговариваем Филиппа принять гражданство.

Несколько дней спустя ко мне снова обратился один из его сотрудников. Тут мое сопротивление было сломлено.

— Хорошо — сказал я. — Согласен.

«Северная территория Австралии

„Правительственная газета“, № 25 от 15.V.1960 г.

Я, Джеймс Кларенс Арчер, администратор Северной территории Австралии, по рекомендации административного совета и в соответствии с полномочиями, возложенными на меня Законом о благосостоянии 1953—1959, настоящим вношу поправку в сообщение, опубликованное в «Правительственной газете» Северной территории № 19B от 13 мая 1957 года, и исключая из списка подочечных лиц:

Филиппа Вайпулдапью, секция Бунгади, племя алава.

Анну Дулбан, секция Нгамаянг, племя вандаранг.

Филис Мутукутину, секция Бурлангбан, племя алава.

Роду Булулку, секция Бурлангбан, племя алава.

Конни Нгампримба, секция Бурлангбан, племя алава.

Мэвис Вайджимари, секция Бурлангбан, племя алава».

На официальном жаргоне это означало, что все члены моего семейства становились полноправными гражданами. Две наши младшие дочери — Маргарет Габадабадана и Мириан Джардагара — родились свободными.

Какие перемены внесло в мою жизнь получение права гражданства?

Я могу теперь войти в ресторан и заказать вино или пиво, не опасаясь ареста по обвинению в том, что «або пьет спиртное». Впрочем, эта привилегия не так уж много значит для человека неьющего.

Наши с Анной имена внесены в список избирателей. Если мы не явимся голосовать в день выборов, нас оштрафуют. Вот это уже нечто новое.

Мы получили от новых обитателей губернаторской резиденции трогательное приглашение в золотой рамке: «Администратор и миссис Роджер Нотт будут рады видеть мистера и миссис Филипп Робертс...»

В остальном мало что изменилось.

Я по-прежнему работаю фельдшером. У нас новый дом в Найтклиффе, пригороде Дарвина. Дети мои ходят в школу для аборигенов, учатся читать и писать.

Мое положение в племени, конечно, осталось прежним. Для алава я тот же, что и раньше: Вайпуданья или Ваджири-Ваджири из секции Бунгади. Я джунгайи и останусь им до конца своих дней...

Если я появлюсь на реке Ронер во время Кунапиши, мне придется осмотреть разрисовку тел людей моей секции и выступить в роли распорядителя церемонии.

За кого выходить замуж моим дочерям — решит их дядя, Джонни Нунгуру. Этого права гражданство мне не дало.

Оно также не помогло мне разрешить противоречие между унаследованными от предков языческими верованиями и христианской религией миссионеров.

Да, я верю в бога... Но я верю и в Землю-мать, Змею-радугу, мой тотем — кенгуру. Они дали нам все, что мы имеем: племенную землю, пищу, жен, детей, культуру... И ничто, ничто не в силах это изменить. Наследие это, передававшееся со Времени сновидений из поколения в поколение, — неотъемлемая часть меня самого. Во время инициации его острой сталью врезали в мое тело и душу.

Как может абориген, участвующий в двух религиозных церемониях по полгода каждая, отказаться от своей веры ради одной церемонии, дящейся какой-то час?

Как могу я отрешиться от наших самоабвенных обрядов, отбивания ритма палками, разрисованных танцоров ради бесцветного речитатива?

Вот уже полвека миссионеры стараются уничтожить нашу веру и обратить алава в христианство. Кое-кто из нас исповедует эту религию. Я в том числе. И мой отец, Барнабас Габарла, тоже... Он даже проповедник.

Но, по правде говоря, мы приняли чужеземную веру, чтобы не обидеть белых людей, которые были к нам добры.

Мы им благодарны за то, что они помогли нам, за то,

то они взяли нас под свое покровительство и спасли от жестокостей первых поселенцев.

И все же они могут стараться еще пятьсот лет, им все равно не лишит нас глубоко религиозных праздников Кунашии и ябудурава. Они передаются новым поколениям. И так будет всегда.

Гражданство не освобождает меня от обязанностей перед племенем на тот случай, если когда-нибудь старейшины явятся ко мне с жезлом дивурувур, украшенным перьями и священными знаками, и скажут: «Вайпулданья, ты назначен палачом, мулунгувой».

Мне придется подчиниться племенному закону — иного выхода нет — и совершить убийство (а затем заплатить за него всеми земными благами) или быть убитым самому.

Хорошо бы в подобной ситуации сказать: «Простите, я теперь такой же гражданин, как и любой белый. Я не могу сделать то, чего вы требуете. Я должен подчиняться закону белого человека». Но такая мысль никогда не пришла бы мне в голову.

Я чернокожий!

Я надеюсь, что старейшины никогда не обратятся ко мне.

Я не хочу, чтобы они обратились.

Но если это все же произойдет, я сначала буду аборигеном, а уже потом гражданином.

Извечные законы алава были принесены Кунашии в устье Ропер задолго до того, как бог Израиля сказал: «Внимайте, я господин! Я не меняюсь».

И мы тоже не меняемся.

Джу-джу нама ялала!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Этнография как наука имеет большую историю. В основе ее всегда находилась практическая потребность в познании других народов, к которой постепенно с развитием культуры присоединилась необходимость познания своего собственного народа, своей национальной культуры, своего прошлого, а вместе с тем и прошлого всего человечества. Путешествия, открытия, сделанные в отдаленных частях света, прежде всего в Америке и Океании,— все это, однако, давало пищу не только для научных обобщений, но и для мифотворчества. Одним из таких мифов, завладевших в XVIII веке умами просвещенной Европы, стал миф о добродетельном дикаре. Первобытный человек, наивный варвар, сделался для Ж. Ж. Руссо и многих других писателей этой эпохи эталоном в области морали и права, а первобытное общество — образцом идеального человеческого общежития, естественного состояния человечества. Именно здесь, у первобытных народов, усматривал Руссо господство разума и жизнь в полной гармонии с природой. Но, может быть, лучше других это выразил в своих «Опытах» Мишель де Монтень: «Дикарями все еще управляют законы природы, почти не извращенные нашими. Они пребывают все еще в такой чистоте, что мне порою бывает досадно, почему сведения о них не достигали нас раньше... Мне досадно, что ничего не знали о них ни Цицерон, ни Платон; ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой век, все ее выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления и пожелания философии»¹.

Загадка происхождения человеческого общества и культуры издавна волновала пытливые умы. Многие выдающиеся деятели древности и нового времени стремились понять, как сложилась и развивалась современная цивилизация. Возникла мысль о том, что ее нынешнему состоянию предшествовали такие ступени развития, на которых еще и сегодня находятся так называемые дикие народы. Одним из первых эту мысль выразил в IV—V вв. до н. э. греческий историк Фукидид: «Варвары живут ныне так, как когда-то жили греки». Принципы реконструкции прошлого цивилизованных народов с помощью сведений о народах, стоящих еще за порогом цивилизации, был положен уже в XVIII в. Ж. Ф. Лафито в основу его книги: «Обычай американских дикарей в сравнении с обычаями древних времен», но с особенной глубиной и блеском обнаружил себя в XIX в. в знаменитом труде Л. Г. Моргана «Древнее общество». Идеализация первобытного человека,

¹ М. Монтень, Опыты, кн. I, гл. XXXI.

войственная XVIII в., в следующем столетии сменилась все более углубленным и трезвым изучением культурно отсталых народов, прежде всего чтобы понять, как в действительности возникло и развивалось человечество, как оно стало таким, каким мы видим его сегодня. Это и послужило началом этнографии как науки в современном ее понимании.

Одним из тех народов, которые давали и продолжают давать исторической науке бесценные сведения о далеком прошлом человечества, были и остаются аборигены Австралии, сохранившие благодаря относительной изоляции на протяжении тысячелетий немало таких особенностей культуры и общественного строя, которые были характерны когда-то, в эпоху каменного века, и для других народов. Вот почему, начиная со второй половины XIX в., когда изучение коренных австралийцев стало особенно интересным, и вплоть до сегодняшнего дня на них обращено пристальное внимание науки о первобытном обществе. И хотя им посвящены многие тысячи страниц, никогда еще не было такой книги, как та, что лежит сейчас перед нами. Ведь если до сих пор об австралийцах писали посторонние наблюдатели — этнографы, миссионеры, путешественники, — люди иной культуры (даже У. Бакли², который прожил в австралийском племени свыше трех десятков лет и почти позабыл родной английский язык), то теперь мы впервые получили документальную повесть о жизни австралийского аборигена, рассказанную им самим. Вот в чем особая ценность этой книги. Это как бы взгляд на австралийское общество не извне, как обычно, а изнутри. И хотя повесть написана рукой писателя — англо-австралийца, что несомненно наложило отпечаток на книгу, все же это не снижает ее ценности. Чтобы собрать материал для книги, Дуглас Локвуд, как он сам пишет, провел сотни часов в беседах с человеком, австралийское имя которого — Вайнулданья, а европейское — Филипп Робертс, от лица которого ведется рассказ.

Мир, о котором поведал Вайнулданья, имеет мало общего с идеализированным первобытным раем, нарисованным восбращением авторов XVIII в. Поистине, позади нас не было золотого века. Мы погружаемся в атмосферу страха и взаимной отчужденности. Опасности, которые окружают человека со всех сторон, созданы не только и не столько природой, это не только угроза остаться без пищи и воды и умереть от голода и жажды — с такого рода опасностями австралийские аборигены научились справляться, им не страшны даже безводные пустыни, в которых нашло свою могилу немало путешественников-европейцев. Нет, это прежде всего опасности, порождаемые самой общественной средой. Извечная разобщенность людей — вот что порождает веру в колдовство. Люди других племен — потенциальные враги. Даже в своем племени человека преследует вечный страх стать жертвой вредоносной магии. Психические приемы умерщвления действительных и мнимых врагов и, как противовес им, психотерапия — то и другое развито здесь настолько, что даже дает материал для больших специальных исследований. Чаще всего здесь погибают девичьи. Ф. Робертс рассказывает о многочисленных случаях,

² У. Б а к л и, Австралийский Робинзон, М., 1966.

когда за чью-то действительную, а чаще мнимую вину расплачиваются родичи или совершенно посторонние люди. Здесь все боятся друг друга. Повсюду мерещатся колдовство и чья-то злая воля.

Не следует, однако, и слишком мрачно оценивать обычаи аборигенов. Взаимоотношения между людьми и законы здесь во многом более справедливы и человечны, чем в обществе белых. «Наш образ жизни предполагал систему коллективной поддержки, — рассказывает Робертс, — каждый получал по потребностям, но зато и должен был вносить вклад в общее достояние по своим охотничьим способностям» (стр. 42). Таков основной закон этого общества, которое можно было бы назвать первобытнокоммунистическим. Робертс рассказывает об узаконенном обычае справедливого распределении охотничьей добычи и о других проявлениях первобытного коллективизма. Но вот мы читаем: «...у каждого есть свой собственный участок племенной земли, который он называет „моя страна“» (стр. 28). Что это? Не частная ли это собственность на землю? Не противоречит ли это всему, что мы знаем об австралийских аборигенах? Действительно, притязания аборигенов на отдельные участки племенной земли нередко вводили в заблуждение этнографов, заставляя их утверждать, что индивидуальная собственность на землю возникает уже в первобытном обществе. Но это совсем не так. Здесь перед нами не собственность в экономическом смысле этого слова, а потому и о «собственности» говорить не следует. На участке племенной земли, который абориген называет «своей страной», находятся его тотемические святилища, то есть места культа того тотемического рода, к которому он принадлежит. Пищу аборигены добывают на всей территории племени без ограничения.

Необычен путь Филиппа Робертса — Вайпулданья от юноши-охотника австралийского племени и рабочего-скотовода на ферме до европейски образованного человека и общественного деятеля, известного не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Это поистине «путь свидений», но не тот, что был установлен далекими предками и определил собою всю жизнь аборигена от рождения до смерти (Вайпулданья часто вспоминает о нем), а тот, что ведет вперед каждого австралийца, мечтающего, как и Ф. Робертс, о лучшей участи для своего народа — и не только мечтающего, а делающего для этого практически все, что в его силах.

Население Австралии (в настоящее время — свыше 11 млн. человек) состоит из лиц различного расового и национального происхождения. Австралийские аборигены составляют наиболее древнюю его часть. Они пришли в Австралию из Южной и Юго-Восточной Азии за тридцать тысяч лет до того, как появилось здесь все остальное население. Не случайна и оправдана гордость Ф. Робертса за свой народ, донесший из глубин веков освященные древностью обычаи, легенды и верования, понятно, почему он с чувством некоторого превосходства смотрит на тех, кто появился в Австралии по историческим масштабам лишь вчера. По официальным данным, в 1966 г. в Австралии насчитывалось свыше 52 тысяч чистокровных аборигенов и 77 тысяч метисов, а всего 130 тысяч человек. Таким образом, аборигены составляют от 1 до 2% всех жителей страны. Остальная часть населения — лица европейского и азиатского происхождения, потомки иммигрантов, пе-

расселявшихся в Австралию с конца XVIII в., когда началась колонизация этого континента (первое европейское поселение в Австралии было основано в 1788 г.), и вплоть до XX в. Европейское по своему происхождению население Австралии состоит главным образом из потомков английских переселенцев. Австралийский Союз — самый «британский» из доминионов Великобритании. Сравнительная однородность австралийского населения — результатшовинистической политики австралийского правительства, официально провозглашенной и принятой в 1901 г. и поставившей своей целью свести к минимуму неевропейское население Австралии путем ограничения иммиграции из стран Азии и Океании.

К началу колонизации, то есть в конце XVIII в., в Австралии, по приблизительным подсчетам, насчитывалось до 300 тысяч аборигенов. К середине нашего столетия эта цифра сократилась в несколько раз. Большая часть коренного населения была истреблена колонизаторами или погибла от болезней, занесенных ими, против которых организм аборигенов не выработал иммунитета. Коренное население Тасмании — острова, являющегося частью Австралийского Союза, — было уничтожено полностью еще в конце XIX в.

Образ жизни коренного населения Австралии неодинаков. Одни аборигены продолжают вести жизнь бродячих охотников и собирателей, вроде той, что вели еще родители и деды Вайпулданы. Такова, например, четвертая часть аборигенов Западной Австралии (две из восьми тысяч человек). Другие — живут вблизи миссий, в правительственных поселках, на окраинах городов, на фермах. Так, например, из 17 500 аборигенов Северной территории около шести тысяч живут вблизи миссий, свыше пяти тысяч — в правительственных поселках, примерно шесть тысяч — на фермах и в городах и лишь двести человек все еще ведут прежний кочевой образ жизни. Аборигены, живущие на фермах и в городах, представляют собой постоянный источник дешевой неквалифицированной рабочей силы для австралийского капитала. Поэтому-то австралийские монополии стремятся сорвать любые меры, направленные к улучшению условий жизни, труда и образования аборигенов, проводимые под давлением демократических сил страны.

Официальная политика дискриминации аборигенов недавнего времени проявлялась уже в том, что они не считались гражданами своей страны. При переписях населения их учитывали особо. Лица, получившие гражданские права, не рассматривались статистикой как аборигены. Акт о национальности и гражданстве 1948 — 1960 гг. формально провозгласил аборигенов гражданами Австралии. Однако они по-прежнему лишены многих прав и привилегий, которые имеют остальные австралийцы. До 1962 г. аборигены Западной Австралии и Северной территории не имели права избирать и быть избранными в парламент. Аборигены Квинсленда лишь в 1965 г. получили избирательные права.

Приобретение аборигенами гражданских прав и свобод — права участвовать в выборах, свободно передвигаться по стране, распоряжаться своей собственностью и т. д. — одна из самых живо-трепещущих проблем современной Австралии. Она не сходит со страниц австралийской печати и волнует не только аборигенов, но и тысячи австралийских граждан европейского происхождения. Уступая давлению демократических сил, федеральное правитель-

ство в 1957 г. ввело на Северной территории, там, где разворачивается действие нашей книги, так называемый закон о благосостоянии аборигенов. Согласно этому документу, за коренными жителями признавалось чисто номинальное право называться австралийскими гражданами; в остальном их права по-прежнему были ущемлены. В 1964 г. этот закон был отменен. Однако, несмотря на то что было введено в действие более прогрессивное законодательство, неравноправное положение аборигенов во многом остается в силе. Хотя аборигены юридически считаются такими же гражданами, как и остальные австралийцы, во всем, что касается условий труда и заработной платы, дискриминация продолжает сохраняться. Большинство чистокровных аборигенов Северной Австралии не получают (или не получали до недавнего времени) равной оплаты за равный с белыми рабочими труд. За последние годы было построено много новых школ, и теперь 80% детей чистокровных аборигенов Северной Австралии посещают школу. Однако для большинства местных жителей образование как средство социальной мобильности практически бесполезно. В 1965 г. правительство Квинсленда отменило прежние варварские правила, ставящие аборигенов в положение заключенных в резервациях, и ввело новое, несколько более гуманное законодательство. В 1966 г. лейбористское правительство Южной Австралии приняло со своей стороны два новых закона. Первый — «Акт о запрещении дискриминации» — ставит своей целью положить конец всем формам расовой дискриминации в Южной Австралии. Вторым — «Положение о землях аборигенов» — явился первой в Австралии попыткой обеспечить земельную собственность аборигенов и компенсировать те общины, которые были согнаны со своей земли. Но только в Виктории и Новом Южном Уэльсе — двух штатах, где процентное отношение аборигенов к остальному населению совершенно ничтожно, — они пользовались и пользуются формально всеми юридическими правами австралийских граждан (за исключением права употреблять алкогольные напитки в Новом Южном Уэльсе). Экономическое их положение не лучше, чем в других штатах.

Большая часть чистокровных аборигенов живет в резервациях, главным образом в Западной Австралии. Самая большая резервация расположена в наиболее пустынной и бесплодной части коптлпента на землях трех штатов — Западной Австралии, Южной Австралии и Северной территории. Большие резервации имеются также и в других местах. Все это области пустынь, саванн или тропических лесов, где вследствие неблагоприятных природных условий европейцев почти нет. Под резервациями согласно австралийским законам понимаются населенные аборигенами местности, иногда целые области, куда имеют допуск только правительственные служащие и лица, получившие специальное разрешение. Резервации можно разделить на две основные группы. Первая включает территории, где аборигены живут традиционными родовыми общинами, занимаясь охотой, рыболовством и собирательством, кочуя с места на место. В другую группу входят местности, где так называемые «детрибализованные» (т. е. утратившие родоплеменные связи и собранные из разных общин и племен) аборигены живут оседло, занимаясь на работу или получая подаяния от благотворительных организаций. Условия жизни в таких резервациях очень тяжелы. Здесь, как правило, не хватает элементарных

бытовых удобств, люди живут в убогих лачугах, имеют лишь случайную низкооплачиваемую работу. Многие резервации обнесены колючей проволокой и находятся под охраной полиции.

Все еще продолжается начатый в XVIII в. захват земель, принадлежащих аборигенам. Так, в 1961 г. 250 аборигенов Мапунской миссии (полуостров Кейп-Йорк) были без всякой компенсации согнаны со своей земли, проданной правительством компании по добыче бокситов. В 1963 г. одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия — французская горнопромышленная компания «Пешени» — договорилась с австралийским правительством о приобретении большой территории на побережье залива Мелвилла (полуостров Арнемленд), где находится одна из резерваций. Федеральный совет развития аборигенов — общественная организация, ставящая своей целью помощь коренному населению, — выступил против этого проекта на том основании, что предлагаемая к продаже территория принадлежит аборигенам, а не правительству. Между тем с аборигенами даже не консультировались, хотя продажа земли непосредственно затрагивает их жизненные интересы. Со своей стороны аборигены направили в федеральный парламент петицию, написанную на куске эвкалиптовой коры, где они протестовали против незаконного изъятия у племени его исконных земель. Необычное письмо было доставлено на заседание австралийского парламента. Протест поддержала печать. Парламент создал специальную комиссию, и дело в конце концов было передано в суд.

В Австралии все еще существует «цветной барьер». Многие рестораны, церкви закрыты для аборигенов. В больницах для них отведены специальные палаты, в кинотеатрах — худшие места, на улицах некоторых городов им запрещено появляться после установленного часа.

После второй мировой войны правительство Австралии, уступая требованиям прогрессивной общественности, ассигновало известные суммы на жилищное и школьное строительство и осуществило ряд других мер в интересах аборигенов. В 1961 г. в столице Австралии — Канберре — был основан Институт по изучению аборигенов, осуществляющий большую всестороннюю координационную научно-исследовательскую работу в масштабах всей страны. В том же году в Канберре состоялась конференция, посвященная положению аборигенов, с участием министров федерального правительства и штатов. С тех пор такие конференции устраиваются каждые два года. Участники первой конференции обсудили политику ассимиляции аборигенов, официально провозглашенную правительством. Ее целью является, как говорилось в выступлении министра территорий федерального правительства Хэзлака, «постепенное приобщение аборигенов к жизни всего австралийского общества и приобретение ими прав и привилегий австралийских граждан». Наряду с этим было признано необходимым «охранять аборигенов от вредного воздействия внезапных перемен» и заявлено о необходимости опеки над аборигенами. В своем выступлении в парламенте Хэзлак настаивал на том, что перемены в общественном и политическом положении аборигенов должны проводиться постепенно, на протяжении жизни трех поколений. Большинство членов парламента поддержало политику ассимиляции. В идеале политика ассимиляции означает предостав-

ленно белым и черным равных возможностей; она ставит своей конечной целью предоставление аборигенам полных гражданских прав и отмену всевозможных законодательных ограничений. В этом ее положительное значение. Но все это лишь в идеале, в отдаленном будущем; она не устраняет экономических противоречий; более того, аборигены понимают, что она угрожает уничтожить все лучшее, что еще сохранилось в их культуре.

В то же время сама правительственная печать вынуждена признать, что аборигены хотят жить вместе, вести жизнь, которая не является ни их традиционной жизнью, ни жизнью белых. Но некоторые черты своего наследия — язык, идеи племенной организации и обязательной взаимопомощи — они хотят сохранить. Австралийские этнографы и социологи отмечают, что в обществах «ассимилируемых» аборигенов возникает новая культура — ни традиционная, ни европейская, которую правительство хотело бы им навязать. Аборигены отвергают капитализм с его экономическим и социальным неравенством, с его моралью, они не хотят полной утраты своей национальной самобытности. Но они не хотят и возврата к прошлому, они желали бы сохранить все лучшее, что имелось в их тысячелетней культуре, ведя в то же время жизнь современных фермеров или скотоводов, создавая собственные кооперативы.

В 1965 г. на очередной конференции, посвященной положению аборигенов, цели политики ассимиляции были сформулированы уже несколько иначе, и эта новая формулировка отражает, видимо, отношение самих аборигенов к этой политике. Акцент теперь делается на добровольности избрания аборигенами нового образа жизни. Отсутствует требование соблюдения тех же самых обычаев и верований, как и у белых австралийцев. Однако, несмотря на все более широкое вовлечение самих аборигенов в лице их наиболее активных представителей в общественно-политическую жизнь страны — к числу таких людей принадлежит и героиня нашей книги Ф. Робертс, — в целом участие аборигенов в управлении собственными делами остается еще крайне незначительным. Вот почему они все еще называют политику правительства «принудительной ассимиляцией».

Одно из течений современной прогрессивной австралийской общественной мысли, поддерживаемое многими аборигенами, противопоставляет как политике ассимиляции, так и попыткам искусственного сохранения старого родо-племенного уклада третье решение проблемы — интеграцию. Под интеграцией понимается добровольное включение общины аборигенов в австралийское общество в качестве равноправной его части, без разрушения «всего лучшего, что есть в племенном обществе, его культуре, искусстве и языке» — как сказано в одном из документов интегралистов. Представителем этого течения является, например, известный австрийский этнограф Томас Стрелов. Белые, по мнению Стрелова, должны понять, что черный человек — человеческое существо со своим собственным мировоззрением, своей историей, своими традициями. Ни один австралийский суд, например, не признает норм племенного права, и большинство аборигенов, находясь в европейском суде, не понимают того, что здесь происходит. Поэтому белые должны, в частности, признать нормы обычного права абори-

генов. В программе интегралистов, как видим, немало утопичного.

Расовая дискриминация ведет к росту национальной солидарности и развитию национального самосознания, которое выражается в форме протеста против ущемления достоинства человека и всего народа. Впервые в истории Австралии ее коренные жители активно вступают в организованную борьбу за свои права. И теперь эта борьба поддерживается всеми прогрессивными общественными силами страны, прежде всего рабочим классом в лице его левых профсоюзов. В 1967 г. борьба за социальное и экономическое равенство вылилась в первую в истории Австралии забастовку аборигенов, работающих по найму на скотоводческих станциях Северной территории. Советский читатель уже знаком с этой забастовкой по документальной книге австралийского писателя Фрэнка Харди «Насынки Австралии»³. Напомню, что причиной забастовки было решение арбитражного суда, вынесенное в 1965 г., которое уравнивало заработную плату пастухов-аборигенов и белых рабочих (в прошлом аборигенам платили значительно меньше, чем белым, за равную работу, а то и вовсе не платили), но с отсрочкой на три года. Причем повышение заработной платы касалось не всех рабочих, а только самых квалифицированных (с точки зрения нанимателей). Такое решение открывало широкий простор произволу, и оно не могло удовлетворить рабочих-аборигенов. Забастовку возглавили наиболее сознательные и активные аборигены Северной территории, в том числе Декстер Дэниелс, работник профсоюза рабочих Северной Австралии, Кэнтен Майор (Луинга Джинари) и герой нашей книги — Филипп Робертс. Об этой странице его жизни книга Д. Локвуда ничего не говорит — ведь она доведена лишь до 1960 г., когда Вайпулданья (в отличие от тысяч его соплеменников) был признан полноправным гражданином Австралии. Мы расстаемся с ним в тот период его жизни, когда он самоотверженно отдается медицинской помощи своему народу. Теперь мы знаем, что он включился в борьбу уже не только за физическое здоровье своих соплеменников, но и за их социальное и экономическое равноправие. Таков один из представителей нового поколения аборигенов Австралии, поколения, которого еще не знала эта страна; его обращение к социальной борьбе явилось логическим следствием всего его жизненного пути.

В последние годы в Австралии возникла целая сеть общественных организаций, ставящих своей целью экономическую, политическую и юридическую помощь аборигенам. Наиболее крупная из них — Федеральный совет развития аборигенов. Он координирует деятельность многочисленных организаций во всех штатах Австралии (таковы, например, лиги развития аборигенов Виктории и Квинсленда и др.). Организации эти стремятся, как сказано в их программе, к достижению следующих целей: полному равноправию аборигенов, созданию удовлетворительных условий жизни и равной оплате за равный с белыми труд, доступному и обязательному образованию для аборигенов, гарантированному сохранению всех видов их общественной и личной собственности, включая собственность на землю.

³ «Иностранная литература», 1968, NN 10—11.

Организации, входящие в Федеральный совет развития аборигенов, собирают денежные средства на жилищное строительство и другие цели. Они борются за то, чтобы земли, населенные аборигенами, перешли в их неограниченную собственность. Лига развития аборигенов Виктории издает свой журнал, способствующий привлечению широкого общественного интереса к нуждам аборигенов. Национальная конференция по развитию аборигенов, которая состоялась в 1961 г. в Брисбене, отвергла как расовую сегрегацию, так и официальную политику ассимиляции и выступила за право аборигенов на самоопределение и сохранение их национального языка и культуры на их собственной земле под их собственным контролем.

Рабочие Австралии в своей массе глубоко сочувствуют борьбе аборигенов за равноправие и оказывают им эффективную помощь.

В Федеральном совете развития аборигенов и других аналогичных организациях аборигены находятся в меньшинстве. Но в последнее время начинают возникать и такие организации, которые состоят почти из одних только аборигенов. Одной из первых организаций в Австралии стал образованный в 1962 г. в Дарвине Совет борьбы за права аборигенов Северной территории. Его организаторами были чистокровные аборигены, в том числе брат Филиппа Робертса — Джекоб. Д. Локвуд рассказывает о нем в своей книге. Подобно Филиппу, Джекоб тоже работал в госпитале в Дарвине. Джекоб Робертс и стал первым председателем совета. В числе основателей совета был и Филипп. Во время врачебных объездов Северной территории он уже не только следил за состоянием здоровья своих соплеменников, но и пытался предотвратить всякие попытки проявления несправедливости и произвола по отношению к ним. Он ездил в Канберру и беседовал с членами правительства. Он энергично поддерживал петицию племени, которому грозила потеря его земель, продаваемых правительством иностранной горно-промышленной компании. Главной целью своей деятельности Совет борьбы за права аборигенов провозгласил борьбу за осуществление Декларации о правах человека, принятой Организацией Объединенных Наций. «Мы попытаемся сплотить вокруг себя всех аборигенов Северной территории, — сказал тогда Джекоб Робертс, — племенные границы и языковые барьеры для нас не помеха». На земле Северной Австралии, управляемой подобно колонии, все благосостояние которой покоилось на труде черных рабов, это был первый сигнал, возвестивший о том, что аборигены не желают более оставаться пассивным объектом дискриминации и опеки, что они хотят бороться за человеческие условия жизни, за экономическое и социальное равноправие, что они сами желают участвовать в решении своих судеб.

В мае 1967 г. произошло другое важное событие — состоялся общеавстралийский референдум, в результате которого почти 90% избирателей проголосовали за пересмотр некоторых статей федеральной конституции, ущемляющих гражданские права коренных австралийцев. Первая поправка к конституции означает отмену статьи 127, согласно которой аборигены исключались из числа граждан Австралии во время всеобщих переписей населения; отмена этой статьи имеет принципиальное значение. Вторая вносит изменение в статью 51, которая запрещала федеральному правительству принимать законы, касающиеся аборигенов, проживаю-

щих на землях австралийских штатов. Раньше юрисдикция федерального правительства распространялась лишь на аборигенов, населяющих Северную территорию. Высокий процент избирателей, высказавшихся за принятие этих двух поправок к конституции страны, свидетельствует о том, что подавляющее число граждан Австралии хотело бы положить конец дискриминации аборигенов. Голосую за эти поправки, они голосовали по существу за предоставление аборигенам гражданских прав — независимо от того, на землях какого штата они проживают. Ведь до 1967 г. в каждом штате действовало свое особое законодательство.

Вскоре после референдума, летом 1967 г., в Перте состоялась очередная конференция министров, ответственных за «благополучие» аборигенов. Многие в Австралии надеялись, что она отразит волю подавляющего большинства австралийских избирателей, выраженную во время референдума. Существенных перемен, однако, не последовало. Были, правда, выделены некоторые суммы на жилищное строительство, образование и другие цели и принято официальное решение, передававшее все дела, касающиеся аборигенов, из юрисдикции штатов в ведение федерального правительства. Конференция признала, что «существенным фактором прогресса является ответственность самих аборигенов за их собственные дела» и что политика правительства в отношении аборигенов будет определяться главным образом тем, чего они сами хотят.

Летом 1968 г. в Сиднее состоялась первая национальная конференция аборигенов Австралии. Одним из главных ее требований было введение законодательства, объявляющего преступлением дискриминацию на основе расовой принадлежности.

Судьба Филиппа Роберта заставляет о многом задуматься. А что, если бы он не встретил доктора Лонгфорда, который обратил внимание на способного юношу, обучил его медицине, оплачивал его труд из личных средств? Не будь всего этого, сумел бы Вайкулданья покинуть племя, получить специальность, выйти в большой мир?

Сама личность Филиппа Роберта характерна для нового поколения аборигенов. Одна из интереснейших ее особенностей — двойственность сознания. На страницах книги она, эта двойственность, выступает особенно вышукло: может быть, автор даже кое-где излишне стуснул краски. Но так как иначе эта черта свойственна и другим его соплеменникам, воспитанным миссией и одновременно племенем, оторванным обстоятельствами от родных корней, но духовно все еще крепко связанным с культурой и традициями своего народа. Вот и Декстер Дэннелс, который, как и Филипп Робертс, родился на реке Ронер, ходил в школу при миссии, потом работал на скотоводческой станции, в больнице в Дарвине, а затем стал работником профсоюза рабочих Северной Австралии, советует своему народу «сотрудничать с христианами, сотрудничать с любыми евреями... сотрудничать с ними, но следовать нашему собственному закону, закону аборигенов»⁴.

Филипп Робертс сознает себя христианином и в то же время аборигеном, преданным традициям племени. Христианство его

⁴ «Иностранная литература», 1968, № 11, стр. 326.

своеобразно сочетается с дохристианскими верованиями, которые он, следуя миссионерам и сам как бы стесняясь их, называет не иначе, как языческими. Однако он не отказывается от них, ибо традиционное мировоззрение племени — он хорошо сознает это — предмет его гордости, национальное достояние и тысячелетнее культурное наследие его народа. Это — то, что делает его самим собою, т. е. коренным австралийцем, которым он всегда был и которым хотел бы остаться навсегда.

«Как сочетать непоколебимую веру в Землю-мать и Змею-радугу со святой троицей?.. Если меня спросят, верю ли я в Землю-мать, я решительно отвечу „да!“. Но если меня спросят, христианин ли я, то я тоже отвечу „да!“, хотя, может быть, не столь решительно» (стр. 100). «Да, я верю в бога... Но я верю и в Землю-мать, Змею-радугу, мой тотем — кенгуру. Они дали нам все, что мы имеем: племенную землю, пищу, жеп, детей, культуру... И ничто, ничто не в силах это изменить. Наследие это, передававшееся со Времени свидений из поколения в поколение, — неотъемлемая часть меня самого» (стр. 210). «Гражданство не освобождает меня от обязанностей перед племенем» (стр. 211), — говорит Филипп Робертс.

Перед нами не просто жизнеописание аборигена. Это — художественная энциклопедия жизни коренных австралийцев в критический, переходный период их истории. Расставание с тысячелетним прошлым неизбежно, и лучшие представители народа, подобно братьям Робертс, понимают, что от них самих зависит, какой путь изберет их народ в этом сложном мире. Они стремятся стать — и уже становятся — активной общественной силой современной Австралии. Их борьбу за свои права все более действенно поддерживает рабочий класс этой страны. Трагическое прошлое, безжалостное физическое истребление коренного населения тревожат совесть «белой» Австралии, что и нашло свое выражение в итогах референдума 1967 г. Смотреть вперед — вот к чему призывают свой народ такие его представители, как, например, талантливая поэтесса-аборигенка, известная общественная деятельница Кэт Уолкер:

Слабый отблеск рассвета
Забрезки над спящим становищем.
Помнит проснувшаяся старуха:
Первое дело — с рассветом
Вспомнить о бедных мертвых...
И вот уж все племя
Плачет о мертвых, о бедных мертвых,
Ушедших от нас во мрак.
Мы помним, помним о них.
Но — хватит. Теперь надо жить.
Зажигайте костры и смейтесь —
Наступающий день зовет⁵.

В. Р. Кабо

⁵ «Поэзия Австралии», М., 1967, стр. 264—265.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	7
Глава вторая	22
Глава третья	33
Глава четвертая	41
Глава пятая	59
Глава шестая	69
Глава седьмая	83
Глава восьмая	95
Глава девятая	103
Глава десятая	119
Глава одиннадцатая	130
Глава двенадцатая	137
Глава тринадцатая	148
Глава четырнадцатая	162
Глава пятнадцатая	176
Глава шестнадцатая	191
Эпилог	208
Послесловие	212

Дуглас Локвуд
Я — АБОРИГЕН

**Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР**

*

**Редактор Э. О. Секар
Художник А. П. Плахов
Художественный редактор И. Р. Бескин
Технический редактор А. И. Гатнер
Корректор А. В. Шандер**

*

**Сдано в набор 20/V 1970 г.
Подписано к печати 23/XI 1970 г.
Формат 84×108¹/₂. Бум. № 1
Печ. л. 7. Усл. п. л. 11,76. Уч.-изд. л. 12,44
Тираж 50 000 экз. Изд. № 2565
Зак. 637. Цена 67 коп.**

**Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр, Армянский пер., 2
2-я типография издательства «Наука»
Москва Г-99, Шубинский пер., 10**